

Ваан Тотовенц

Жизнь на старой римской дороге

Перевод А. Сагратяна

Мать вышла в хлев подоить корову и долго не возвращалась.

— Куда делась невестка? — спросила моя тетушка. Побежали в хлев. Видят — сидит моя мать подле коровы, а на руках у нее синеглазый ребенок.

Это был я.

* * *

Мать стояла на крыше, прижав меня к груди, и звала:

— Баба-Луна, баба-Луна, приди, забери этого шалуна...

Я взглянул туда, куда смотрела мать, и увидел луну в фиолетовых сумерках, сидящую на темно-синей горе. Луна была удивительно большая! С тех пор я никогда больше не видел такой луны. Радуюсь ее огненному блеску, я одной рукой ухватился за волосы матери и подался вперед, чтобы быть ближе к луне, а другой сам стал манить ее. Мать взглянула на меня и вдруг еще крепче прижала к груди, еще ласковее. И хотя я потерял луну, мне было бесконечно приятно в объятиях матери...

Впервые окружающий мир — бескрайняя изумрудная даль, окаймленная цепью синих гор. — открылся мне с такой высоты. Сидя на руках у матери, цепко держась за ее волосы, я хотел улететь в ту изумрудную долину; мне казалось, отпусти меня она, и я улечу далеко-далеко.

На соседней крыше показалась какая-то женщина, перекрестилась, глядя на полную луну, и, обернувшись к нам, сказала:

— На воздух вынесла ребенка?

— Да...

— Как он у тебя поправился! Не сглазить бы...

Мать нежно ущипнула меня.

Я не слышал их больше, — меня захватила бескрайняя даль. Далеко в поле я видел устремленные ввысь минареты и тополя в сиреневых сумерках. С крыши видны были дома; я впервые увидел наш дом. До сих пор меня выносили только на улицу или подносили к окну; здание напротив мне было уже знакомо, я хорошо запомнил его, а нашего дома я никогда не видел со стороны, и как он выглядел, не знал. Когда же мать прошла на другой конец крыши, мне открылся вид на наш сад: бассейн казался малюсеньким, кусты и даже большие деревья — крохотными, Гого, поливавший цветы, — карликом.

В лиловом тумане сумерек носились ласточки, тысячи ласточек. С пронзительным криком они проносились низко над землей, так низко, что, казалось, вот-вот заденут меня крылом.

А когда я начинал следить за какой-нибудь из них, хотел представить линию ее полета, — неожиданно и замысловато линия спутывалась в клубок.

Я долго резвился на руках матери, потом, утомившись, обвил руками ее шею, и голова моя устало склонилась к ней на грудь. Я проснулся, когда было уже утро. Сияло солнце. Мать еще спала. Я поднялся, подошел, прижался к ней. Не открывая глаз, она одной рукой крепко обняла меня.

1

Отец мой был помещиком и важным должностным лицом в провинции.

Но начать я должен с его смерти.

К смерти он приготовился так, как жених готовится к свадьбе. Еще за месяц до этого (тогда он еще был на ногах и чувствовал себя довольно бодро, но знал, что смерть подбирается к нему) он позвал плотника и вместе с ним отобрал длинные ореховые доски.

— Эта не пойдет, — сказал отец и, отбросив сучковатую доску в сторону, заменил ее другой.

Затем он вытянулся на полу, на персидском кирманшахском ковре, и плотник снял с него мерку.

— Высокий ты у нас, хаджи-эфенди[1], как чинара, — заметил плотник.

Отец безучастно улыбнулся.

И в присутствии отца, строго следуя его советам и указаниям, плотник сколотил гроб.

Уединившись в одной из комнат, горько плакала мать, а в это время плотник перебрасывался с отцом шутками, рассказывал смешные истории и, частенько пропуская стопку водки, отмерял ореховые доски, пилил, строгал, сгибал и полировал их.

— Уста Маркар, чтоб ни единого гвоздя!

— Будет по-твоему, хаджи-эфенди.

А я, ничего не подозревая, с любопытством наблюдал за работой уста Маркара. Я думал, что отец снова собирается в путешествие, в Стамбул или другой далекий город, откуда наверняка привезет мне гостинцев — он всегда привозил мне гору подарков.

Гроб уста Маркар смастерил на славу, не хуже, чем сделал бы стол или шкаф.

— Скажу вам, хаджи-эфенди, этак лет двадцать тому назад... — И уста Маркар рассказывал очередную историю, смеялся и полировал доски.

Но когда отец попросил выйти всех домашних из комнаты, чтобы в последний раз лечь в гроб и проверить, так ли он сделан, как надо, — даже уста Маркар не выдержал и в ужасе прошептал:

— Господи всемогущий, ну и сердце у этого человека!

На дворе все плакали, разделяя горе моей матери. Заплакал и я.

Мне сказали — отец скоро умрет... Страх обуял меня и, возрастая с каждым часом, к вечеру овладел всем моим существом.

Я стал бояться всего в доме — открытых дверей в сарае, колодца, сундука под лестницей, куда мы прятались во время игр.

Когда отец открыл дверь, я один подошел к нему.

Я обнял его, уткнулся головой ему в грудь и глубоко вдохнул запах его рубахи.

Запах этот успокоил меня, рассеял страх.

Отец тоже обнял меня. Я заглянул ему в глаза и увидел в них слезы. Материнские слезы мне были знакомы, но отцовские...

— Сынок мой, синеглазое дитя, — прошептал он и расцеловал меня.

Один за другим все вошли в комнату и окружили отца. Он сидел на своей постели, обняв меня. Отец поднял голову, посмотрел на вошедших и, увидя опухшие от слез глаза, вскипел:

— Что выстроились? Уходите! Все удалились.

Слуга взвалил на спину гроб и вынес его. Мрачный и грустный, отец склонился надо мной. Вскоре пришел уста Маркар.

Отец похвалил его за работу, заплатил ему и поднес водки. Уста Маркар поднял стопку:

— Благодарен, хаджи-эфенди. За ваше здоро... — и смолк, будто онемев. Рука его так и повисла в воздухе.

— Ладно, пей! — сказал отец и усмехнулся.

* * *

Спустя два дня я зашел в сарай.

У стены стояло что-то длинное, завернутое в белое покрывало. Я поднял покрывало. Это был гроб. В ужасе я выбежал из сарая.

Навстречу шла мать. Заглянув мне в глаза, она тут же закрыла их своими руками, потом крепко прижала меня к груди. Кто знает, что прочла она в моих глазах?

Я дрожал всем телом, словно меня голым выгнали на мороз.

Мать ни о чем не спрашивала. Догадалась, наверно, чего я испугался...

Обычно отец уезжал на службу на рослом белом осле. Осел шел иноходью. Седло его было украшено серебряными звездочками и бирюзой. Проносясь по улице, он высекал подковами искры. Слуга бежал следом, не переводя дыхания, чтобы успеть подхватить одной рукой узду, а другой стремя, когда отец прибудет на место. Потом слуга приводил осла домой на поводу, не смея сесть на него (это никому не разрешалось), а вечером отводил его за отцом. И так каждый день.

Лошадь у нас держали на случай, если приходил кто-либо из родственников или друзей и говорил: «Кланяемся вам и просим одолжить осла». Им давали лошадь. Отец не любил, когда на осла садились другие. Да и сам осел никому, кроме отца, не позволил бы этого.

Незадолго до возвращения отца весь дом приходил в движение: каждый в семье был занят делом — чистил, подметал, складывал, передвигал. В доме все должно было быть в порядке: обувь аккуратно сложена, двери кладовых закрыты, цветы в саду политы, дети причесаны, всем надлежало сменить одежду, кружке — стоять возле кувшина с водой, и, не дай бог, ручкой к стене, венику — в своем углу, а гвоздю на вешалке быть незанятым.

Отец сходил с осла у ворот. На минуту задерживался, чтобы все увидели, что он вернулся.

Впрочем, в этом не было никакой необходимости: осел, едва свернув на нашу улицу, начинал реветь, возвещая о прибытии хозяина...

Мать встречала отца во дворе, и они вместе поднимались наверх. Никто из нас не смел подойти к нему. Он сам подзывал каждого, целовал и отсылал на место.

* * *

По воскресным дням отец уезжал в поместье. Сидя на краю мраморного бассейна, он пил и закусывал присланной из дому снедью. Ужин обычно был рассчитан на десятерых — на случай, если придут гости.

Возвращался он в полночь.

Но даже тогда, когда отец задерживался, мать все равно дожидалась его и уходила к себе только после того, как перекинется с ним двумя-тремя словами.

Детство мое прошло здесь, возле этого бассейна, окаймленного мрамором, пролетело на белоснежных голубиных крыльях.

Ночью в дрожащей глубине бассейна светились бесчисленные звезды, днем плескалось солнце, как бы ища спасения в ее прохладе.

Во тьме белое дно бассейна отливало синевой, отражая звезды, мириады звезд... Тишина кругом, невозмутимая тишина. Клонились ивы к воде, шелестели листья. Падающая вдруг с неба звезда отражалась в воде и гасла. Синева, подобно слезам лани, струилась с неба капля за каплей; и нечто непостижимое, трепетное, неведомо где берущее начало, растекалось, разливалось по вселенной.

А наутро — плоды, множество плодов кричало ярким цветом; в зеленой густоте травы жарко багровели маки; склоны гор пылали, окрашенные кровью солнца, и где-то высоко в объятиях этих гор — бирюзовое, чистое озеро блестело, как ясные девичьи очи.

Красные, золотистые и черные гроздья сверкали, жадно вбирая в себя тепло, сияние и сладость солнца. Казалось, само солнце сгустилось и разбрызгалось капельками, а каждая капелька округлилась, застыла виноградиной.

Осеннее поместье задыхалось от даров земли. Природа готова была лопнуть от бешенства своих страстей, плоды низвергались, как быстрые потоки горной реки, наполнились давящими, и молодое вино лилось в карасы[2] могучей и слитной песней земли и солнца.

И мне тоже хотелось петь звонко, солнечно, во весь голос.

Осенью отец ездил в Стамбул. Поговаривали — приворожила его там какая-то женщина.

Но об этом после, когда начну рассказ о матери.

* * *

Обедаем молча.

Молчание было жесточайшим правилом — ни смеха, ни единого слова, — так требовал отец.

Мать, напротив, любила, когда за обедом вели оживленный разговор, шутили, смеялись (так мы обедали, когда отца не было дома), но в его присутствии она сама призывала нас к порядку.

«Смех и разговоры до и после, но ни в коем случае не во время обеда», — такова была воля отца.

Не раз пытались мы нарушить этот порядок, но отец всегда сердито осекал:

— А ну, замолчи!..

* * *

Два раза в году отец облачался в мундир да и то чертыхаясь, потому что в мундире сидеть на осле было крайне неудобно. Черный сюртук с высоким расшитым воротником, застегнутый на все пуговицы, украшали золотые эполеты с бахромой. На грудь с правого плеча влево спускалась широкая зеленая лента. В мундире отец выезжал на «правительственный смотр», и когда возвращался домой, тут же сбрасывал его, кряхтя: «Оф, оф, оф, избавился...»

В такой день, в день «правительственного смотра», во всем доме царила тишина, торжественное спокойствие. Мощеный дворик, тщательно подметенный, тускло отражал тени проходящих по нему людей, ворота дома украшали турецкие флаги с полумесяцем, парадная дверь была убрана зелеными ветками вербы и ночью освещалась разноцветными фонарями.

* * *

Летом отец проводил долгие часы в саду, возле колодца, у большого куста розы.

С утра в колодец опускали небольшую корзину с бутылкой водки, зеленью и фруктами. С приходом отца корзину поднимали. Ее содержимое мать раскладывала на низком столике, у куста розы.

Одна из моих сестер снимала с отца обувь и подавала легкие домашние чувяки.

Иногда отец поднимался, подходил к кусту, нагибался к ветке и долго вдыхал аромат большой темно-красной розы.

И над всем этим раскололся голубой небосвод, рухнул, как бирюзовый купол старинного храма от землетрясения.

* * *

В новогоднюю ночь, когда мы, дети, ждали Деда-Мороза с рождественскими подарками, в нашу дверь постучалась смерть. Взяла отца за руку, и они, мой отец и смерть, вышли из дому...

Ушли и не вернулись.

2

Я думаю, на свете было всего двое христиан: сам Христос — еврей, и моя мать — армянка.

Читала она только одну книгу — Библию. Мысли ее заняты были лишь одним — как лучше выполнять Христовы заповеди. Она садилась за один стол с нищими, занималась благотворительностью так, чтобы никто не знал об этом, и... молилась.

Она была покорной, и покорность ее была естественной.

Эта женщина готова была выполнить любое желание мужа, даже ценой преступления. Пусть люди презирают ее, чернят, она все смиренно сносила — так учила Библия.

Вместе с тем мать моя, как это ни удивительно, была человеком твердых убеждений, которыми редко когда поступалась.

Отец требовал, чтобы мать держалась как ханум[3], восседала на подушках, не вмешивалась в хозяйство и, главное, не приглашала в дом священника. Отец физически не выносил служителей церкви.

Мать никогда открыто не возражала ему, однако молча, с удивительным упорством сопротивлялась этим барским замашкам мужа.

Она тайком от отца, взяв с нас слово не выдавать ее, помогала прачке стирать белье, подметала, мыла полы вместе со служанками, выбивала пыль, варила обед, разводила огонь — и делала, в конечном счете, все, что делает любая женщина в провинции.

Она не могла жить без всего этого.

А когда осел подходил к дому — все становилось на свое место. Мать и все в доме наряжались так, словно собирались на свадьбу.

И все же это плебейское отступничество матери не ускользало от внимательных глаз отца. — Опять? — сердился он.

Мать смиренно улыбалась, брала его руку, прижимала к щеке и молчала.

Молчал и отец, обезоруженный ее покорностью, но где-то в глубине души у него вскипал гнев. Он поднимался к себе и долго, долго ходил по комнате...

Оба были упрямы.

Отец был убежденный аристократ.

Мать — убежденная демократка.

До конца дней своих отец так и не примирился с демократизмом матери, а мать — с его аристократизмом.

* * *

Мать знала, что у отца в Стамбуле есть женщина. Но относилась к этому спокойно, и отнюдь не от безразличия к мужу, а скорее от большой любви. Любя мужа, она прощала ему и его грехи.

— Он ведь мужчина, — говорила мать, — мужское сердце не знает покоя...

Помнится — это было после смерти отца, — когда мой старший брат пустился в путешествие по черноморским торговым городам, мать вручила ему узел с богатыми подарками для стамбульской женщины. И еще помню, что, вручая узел брату, мать прослезилась. Она хотела, чтобы женщина из Стамбула была так же почитаема в доме, как и все, что связано с памятью об отце.

В Стамбуле узел с подарками был принят тоже со слезами: о смерти отца его стамбульская возлюбленная впервые слышала от моего старшего брата.

Две женщины убивались по одному мужчине, который наполнил их души нежной и мучительной любовью. Брат рассказывал, как он навестил ее, как она узнала его сразу, обняла, поцеловала и заплакала.

— Она высокая, стройная женщина, с длинными волосами, греческим носом, светло-кариими глазами и черной родинкой на шее, — рассказывал он.

Мать восторженно внимала каждому его слову и плакала.

— Бедняжка, сиротой осталась, — говорила она сквозь слезы.

И по сей день не могу постичь всей глубины ее любви. У меня кружится голова и замирает сердце, когда я пытаюсь заглянуть в эту бездну...

Моя мать не была образованной женщиной, ее учение дальше Библии не пошло, но великая сила любви подняла ее до высот безграничной душевной цельности.

Если женщина любит, она может взвалить на себя тяжесть целой горы.

* * *

Как я уже говорил, огромное удовольствие доставляло матери по вечерам, а по воскресеньям и днем, сидеть в углу комнаты, поджав под себя ноги, и читать Библию; сперва за упокой души отца, а потом — и за моих братьев-пандухтов[4].

— Эту главу — моему Геворку... — говорила она, переворачивая страницу. Не успевала она прочесть и строки, как ясные глаза ее наполнялись слезами. Закончив одну главу, начинала другую:

— А это — моему Левону...

После чтения мать долго молча молилась.

На все вопросы о тех или иных святых или событиях, описанных в Библии, она отвечала подробно и с удовольствием.

Как-то лежал я на тахте и дремал. Мать сидела за шитьем, старшая невестка читала вслух Библию.

Вдруг, прервав чтение, она обернулась к матери и сказала:

— Мама, я хочу спросить... В Библии написано, что змий обманул Еву, и она, по его совету, съела яблоко, потом дала его Адаму, и бог наказал их обоих — изгнал из рая...

— Ты что? — прервала ее мать. — Тише, ребенок услышит..

Тут я проснулся. А мать была уверена, что я сплю, и тихо стала рассказывать о змие.

— Милая моя, у тебя уже двое детей, а ты наивна, как ребенок, — начала она. — Знаешь ли ты, почему к женщине относятся с презрением, а в церкви не разрешают входить в алтарь?.. Женщина — существо греховное. Грехи — они от женщин больше. Я расскажу тебе эту историю, только ты никому ни слова... Ева зачала до замужества. Она не захотела ждать и пошла к Адаму, на его ложе. Не понравилось это богу, ибо не давал он на то своего благословения. Разгневался, проклял их и выгнал из рая. Змий — огонь, сидящий в женщине. Где ты видела, чтобы мужчина лез к женщине так просто, без ее желаний?.. Ослепнуть бы Еве, согрешила до замужества, ввергла нас в эту беду. Могла бы и потерпеть, пока бог даст свое благословение, и тогда — лезь к мужу в постель, тем более, что других женщин нет, — одна Ева да один Адам на всем белом свете.

— О-й! — воскликнула невестка.

— Между нами говоря, Ева была бессовестной женщиной, — заключила мать.

* * *

Добрая моя мама! Никогда не забуду сколько беспокойства я причинил тебе однажды.

Было лето. Спасаясь от зноя, я спустился в подвал и лег на холодный пол. Не помню, сколько я спал, услышал только — кто-то спускается вниз. Открыл глаза. И вдруг спускавшийся, пронзительно вскрикнув, распластался на полу. Я тут же вскочил. На шум сбежались домочадцы.

На полу лежала моя мать. Мы подняли ее, отнесли в спальню. Нам с трудом удалось привести ее в чувство. На ней лица не было. Она испуганно смотрела на нас, переводя взгляд с одного на другого: искала отца. Старший мой брат бросился к ней (он был всего на тринадцать лет моложе матери), обнял ее и спросил:

— Что случилось?

— В подвале черт, — прошептала мать.

Брат как-то странно вздрогнул. Подумал, видимо, что с матерью что-то стряслось. Уж не помешалась ли?.. Но я сразу догадался, в чем дело, подошел к матери, положил голову ей на грудь и сказал:

— В подвале был я... а не черт...

Брат хотел наказать меня, но она не разрешила. Когда мать пришла в себя, на ее губах расцвела улыбка, она обняла меня и сказала:

— Глаза у тебя, как у чертенка.

* * *

Моя мать была здоровая, энергичная и красивая женщина.

Думая о ней, я каждый раз вспоминаю кипарис в нашем саду. Она была чем-то похожа на него.

Без особых усилий поднимала она корыто с водой, легко сливала воду. И никого не звала на помощь, когда передвигала огромный стол или другие тяжелые вещи.

И все это делала так просто, словно в руках у нее было что-то невесомое.

Лишь за полчаса до родов она оставляла работу. Выражение боли, едва появившись на лице, сменялось спокойной тихой улыбкой, она уединялась — и... рождался кто-либо из нас. Рассказывали, будто один или двое из нас начали кричать чуть ли не в утробе матери: здоровые, крепкие рождались малыши.

Молока у моей матери было много. Женщины, у которых не хватало молока, иногда приносили ей своих младенцев кормить грудью.

Как сейчас помню: было мне три, может, и все четыре года, а я забирался на колени к матери и припадал губами к ее теплым соскам. Мать придерживала грудь, чтобы я дышал спокойно, чтобы, не дай бог, не задохнулся... И я пыхтел и сопел от удовольствия, наливаясь теплым, густым молоком...

Мать, помню твою радость, твое счастье, когда я и мои братья пили твое молоко, пили из солнечных глубин твоего тела!

Мать — это вечно живая, вечно молодая песнь. Тяжелое чувство гнетет меня сейчас, когда вспоминаю слезы матери, пролитые из-за меня.

Хочу, чтобы кто-нибудь жестоко наказал меня за все мои проступки, иначе душа моя не обретет покоя, не утихнет вечная скорбь в моем осиротелом сердце.

Расправив огромные крылья, опускается багровый закат на чело мое.

Причитают ветры. Холодно на белом свете. Не открывайте дверей...

Но мать улыбается мне вместе с солнцем, выплывающим из-за синих гор. Я вижу ее косы, вплетенные в солнечные лучи, слышу голос ее.

«Отдай мне, сын мой, свою тоску, ликуй, весна моей жизни; резвись на зеленых просторах полей, мой быстрый олененок; лети над пенными гребнями волн, мир приветлив, сын мой, стройное деревце мое, любовь моя..»

И встает великое утро, и золотит своими крыльями мрачные берега души моей.

Солнце доносит до меня голос матери.

Само солнце — мать, светлоокая и златовласая.

И льется на зеленый мир звонкая песня солнца.

И во всех цветках бьется, трепещет горячее сердце моей матери.

Пью запах роз, густой, как ее молоко.

И снова спускается ночь, прохладная, тихая, звездная ночь.

И мать уходит. Уходит вместе с солнцем. Жду утра. Жду, когда мать снова позовет меня песней солнечной свирели.

З

Здесь я обязательно должен поведать вам о своем деде по материнской линии.

Строгий и чопорный, дед мой был прямой противоположностью матери. Ругался со всеми подряд, мог лет на сорок затаить злобу даже на близкого человека. Всех называл лентяями, а сам был бездельником, каких бог не видывал. Промотал все отцовское состояние, влез в какую-то нелепую тяжбу, разорился на адвокатах — лишь бы настоять на своем, а оставшись без гроша, стал жить за счет сыновей.

По утрам, если он собирался на базар, записывал на папиросной бумаге все, что должен купить. Обычно в список входили три или четыре покупки: две охи[5] сахара, двадцать пять дремов[6] имбиря, бутылка уксуса и хлеб.

— Говорят, я ничего не делаю. А это что, не работа? — покрикивал он, тыча всем под нос листок папиросной бумаги.

Сесть на лошадь, съездить в сады и вернуться — это он также считал работой, потому что успевал, очевидно, поругаться со сторожем. Пойти в церковь, помолиться и обругать попа — тоже называлось у него работой, ну а если при этом удавалось еще с кем-нибудь поскандальить, то и подавно.

Родных, знакомых, вообще никого дед мой не называл по именам. «Пес, Хрыч, Черная кошка, Лисий хвост, Чертов нос, Отвислая челюсть, Кривой» — вот неполный перечень придуманных им кличек. К примеру, меня он называл не иначе, как «Наш цепной пес».

Во время службы, если священник замечал, что хаджи Аракел-ага в церкви, — молитвы читались полностью, ибо дед мой, он же хаджи Аракел-ага, незамедлительно прочитывал довольно громким голосом опущенный текст. Как-то раз священник сократил одну из молитв, когда хаджи Аракел-ага был в церкви. Дед дочитал молитву, чем крепко досадил священнику, мечтавшему в этот день закончить службу пораньше. Но на этом дело не кончилось, он подождал, пока священник вышел из церкви, и обругал его:

— Не будь ты служителем божьим, намял бы я тебе бока, сукин ты сын!

Вернувшись домой из церкви, он по очереди подзывал к себе каждого из нас и, чтобы проверить, кто ел перед обедней, требовал:

— А ну, дыхни.

Мы раскрывали рты, и тот, кто, не дождавшись конца обедни, взял что-нибудь в рот, получал пощечину.

Капусту мы ели свежую. Она была сладкая, и ее подавали на стол вместе с фруктами.

Однажды слуга принес с базара большой кочан капусты. Один из маминых братьев, Партев, отщипнул листик.

Дед пригрозил ему.

— Пока не подадут на стол, не смей, — и шлепнул его по ручонке.

Когда капусту подали на стол, Партев отказался есть. Дед приказал ему есть, но тот заупрямился. Тогда дед схватил со стола кочерыжку, силой запихнул ему в рот и стал бить по голове.

— Подохнешь, но съешь...

Партев заплакал от боли, закричал, давась кочерыжкой.

— Хаджи-ага, он съест, съест, — умоляла бабушка.

Но Хаджи-ага продолжал бить Партева.

— Не слышу хруста...

И Партев, чтобы избавиться от ударов, грыз и плакал, плакал и грыз. Услышав хруст кочерыжки, дед успокоился.

Усы у деда были длинные, до ушей. Он гордился и любовался ими, стоя перед зеркалом.

Была у него привычка: письма от сыновей, живших в Америке, вскрывать только ножницами. Бабушка с нетерпением, порой даже со слезами на глазах, ждала, когда ей прочтут письмо. Но дед с поистине диким упрямством не вскрывал письма, пока не

находил ножниц. Затем, вскрыв письмо, он мучительно долго протирал очки, закуривал, ставил перед собой пепельницу, пропускал стопку водки, прочищал горло, покашливая, и только после этой невероятно долгой процедуры принимался за чтение.

Читал он медленно, про себя, объясняя это тем, что ему необходимо вникнуть в суть письма, чтобы потом уже сделать прочитанное достоянием остальных членов семьи. Если бабушка не отходила от деда, дожидаясь конца этих жестоких пыток, наш домашний тиран обычно говорил:

— Иди по своим делам, потом придешь...

Бабушка моя была маленького роста, кроткая, чистоплотная женщина с мягкими белыми руками, с черными улыбающимися большими глазами. От нее всегда приятно пахло свежим бельем. Говорила не торопясь, умно и очень образно.

Летом любила она подолгу сидеть на балконе. Перед ней простирался сад, террасами сбегавший к оврагу, а по оврагу протекал ручей, образуя на своем пути настоящие водопады. Ручей брал начало где-то высоко в горах и сквозь глубокие ущелья пробивался к зеленым полям. Стоило затрепетать листве и повеять прохладе с Хурийских гор, как бабушка, довольная, восклицала:

— Слава тебе господи!..

Не удивительно ли, что эти два совершенно разных человека прожили вместе, бок о бок сорок один год? Разгадка этой тайны в гнусной, освященной веками заповеди, которая гласит: «Жена да убоится мужа своего».

Как-то раз приснился деду сон, будто за забором, глубоко под землей, его прадеды зарыли кувшин с золотом. Проснувшись, он поднял всех на ноги и заставил копать землю. Мы стали долбить твердый грунт, и действительно, на глубине одного аршина обнаружили кувшин. Увидев его, дед потерял сознание. Десять человек с трудом дотащили его до спальни. Утром дед пришел в себя и сразу потребовал кувшин. Кувшин был пуст. Дед снова потерял сознание, и на этот раз надолго. Чтобы привести его в чувство, пришлось вызывать врачей.

За всю свою жизнь дед ни разу не признал за собой никакой вины. Он верил в свою непогрешимость. Когда же бабушка ставила ему в упрек бесконечные его тяжбы и дикое упрямство, дед говорил:

— Родись я снова, делал бы то же самое...

Сам он ни у кого совета не спрашивал, но требовал, чтобы все советовались с ним. Почему? Какие права имел на это мой дед? Блистал умом? Нет. Да просто потому, что он был хаджи Аракел-ага. А что представлял собой этот хаджи Аракел-ага? Ровным счетом ничего. Сын бывшего богатея, унаследовавший отцовскую спесь и кичливость.

Если кому-либо и случалось дать ему совет, пусть даже по самому пустяковому поводу, и дед понимал, что совет дельный, он все равно его отвергал и поступал по-своему.

Помнится такой случай: взобрался как-то дед на лестницу забить гвоздь в стену. Бабушке хотелось, чтобы гвоздь был забит намертво. Она посоветовала деду вбивать его полегче. А дед, желая досадить бабушке, стукнул по гвоздю с такой силой, что почти по шляпку вогнал в стену. Таким образом, сам того не подозревая, он сделал как раз то, чего хотела бабушка. Довольная, она усмехнулась.

Если бабушке хотелось выехать на лето в деревню, она уже с зимы начинала охаивать ее:

— И кто поедет в такое пекло жариться?

Наступало лето, и дед отвозил бабушку именно в ту деревню, которую она поносила всю зиму. Так исполнялись бабушкины желания. Так поступала она во всех случаях, когда хотела провести свое.

4

Была у меня старая тетушка. Поспевала она всюду: на свадьбы, на похороны, к скандалам, к больным, к роженице, к разделу наследства, к сватовству.

Эта никогда не знавшая любви шестидесятилетняя женщина была заклятым врагом семейного благополучия.

И дома, и на улице с лица ее не сходило выражение недовольства и досады.

Зимой тетушка обычно хворала, летом чувствовала себя бодро.

— Мама, почему зимой тетушка скрючивается, а летом распрямляется?

— Зимой мороз сковывает ей нервы, — отвечала мать, — а летом они отходят на солнышке.

Нервы, — у моей тетушки все зависело от них.

Попытайтесь представить ее внешность: высохшее тело, короткие редкие волосы, длинные костлявые руки со вздутыми венами, скошенный лоб, впалая грудь, короткие ноги, начинавшиеся прямо от груди. У нее не было живота. Вытянутая голова без шеи, маленькие глаза, узкий у основания и расширяющийся книзу нос, который переливался всеми цветами радуги и шелушился.

Пожалуй, труднее всего описать рот тетушки, потому что он не имел определенной формы. Дома, в присутствии членов семьи, был одним, на людях — другим, когда появлялся отец — сразу же поджимался, передавая сплетни увеличивался в размерах. Когда же тетушка спала, рот, казалось, не принадлежал ей: он напоминал пустое дуло, из

него, словно мачты выброшенного на берег старого судна, торчали три зуба. Ходила тетушка во всем старом — в тряпье она чувствовала себя счастливой.

Ненавидела хорошо одетых, и особенно — красивых женщин.

Помню ее поношенное, выцветшее пальто, пеструю от бесчисленных заплаток кофту и шаль, которую какой-то чудаковатый англичанин собирался приобрести как антикварную вещь.

* * *

У тетушки был огромный сундук из орехового дерева (три человека могли уместиться в нем, присев на корточки), все содержимое которого мне вряд ли удастся сейчас припомнить.

В сундуке хранились шелковые платья, сшитые по фасонам пятидесятилетней давности, туфли, спутанные клубки ниток всевозможных цветов, полотенца, накидки, теплые носки, чепцы, панталоны, рубашки, иглы, булавки, куски тафты различного качества, старинные золотые монеты, жемчуга, бриллианты, коврики, серебряные чаши, трубки-чубуки, четки, пояса, флаконы с одеколоном, картины, рамки, ручки с золотыми наконечниками, чернильницы, потрепанные Библии, иерусалимские кресты, пуговицы, головные уборы, кисти от фесок, наперстки...

А сама она щеголяла в неописуемых лохмотьях, в носках, которые штопала тридцать лет кряду, почему они и не влезали ни в какую обувь.

* * *

Много лет назад некий Назар-ага хотел взять ее в жены, но она отказала ему.

— Какой же душой была я тогда — не вышла за него замуж, — сетовала тетушка, — а ведь могла быть ханум-хатун[7] в доме Назар-аги.

После этих слов тетушка тяжело вздыхала, и по ее темному сморщенному лицу катились слезы.

Назар-ага, долговязый мужчина с нелепо торчащими из-под засаленной фески волосами, зимой и летом ходил в плаще, свисающем до пят. Глаза косили в разные стороны, походка напоминала поступь осла, поклажа которого по неосмотрительности хозяина сползла к хвосту.

Но не таким представлялся он моей тетушке.

— Вот это мужчина!.. И рост, и походка — все на месте. Не болтлив, серьезен. Скажет: «Золотце ты мое!» — растаешь. Эх, и дом у него — полная чаша, и доход приличный...

Была у Назар-аги на базаре маленькая треугольная будка, где он составлял по готовым образцам письма для крестьян. Обставлена его «контора» была так — шаткий стол, стул,

вдоль и поперек перетянутый бечевками, и чернильница, в которой ничего не было, кроме волос. На столе — несколько тростниковых перьев, глиняный кувшин для воды, грязный стакан да веник, ставший убежищем пауков.

Кроме писем, Назар-ага составлял еще и прошения по наследственным и бракоразводным делам. Прощения эти он выписывал из какой-то пухлой книги, меняя только имена и даты.

За письмо брал десять медяков, а за прошение — шестьдесят.

Интересно, вспоминал ли он нашу тетушку. Не думаю. Потому что, проходя мимо наших окон, он даже не поднимал головы.

Как-то я спросил о Назар-аге у матери. И она сказала:

— Много лет назад ходили слухи... но, кажется, на том все и кончилось.

* * *

В баню я ходил вместе с женщинами.

Я до сих пор питаю отвращение к восточной бане, потому что навсегда запали мне в память тяжелые запахи серы и пара, изнуряющий жар и чрезмерно полные тела женщин.

В баню тетушка ходила не только мыться. С величайшим усердием и неприязнью изучала она девушек на выданье, чтобы сразу же после бани вдоволь посплетничать о них. Но она так уставала, натираясь всякими благовониями, что дело обычно откладывала до следующего дня. На следующий день, тщательно смазав кремом лицо и накинув на голову свою антикварную шаль, тетушка начинала обход знакомых.

Сначала заходила к Егис-ханум.

Егис-ханум была из категории тех женщин, которые боятся даже собственной тени; окна ее дома всегда были занавешены; в разговоре она старалась не упоминать имен, чтобы, не дай бог, не стать объектом пересудов.

У Егис-ханум было двое детей: сын сорока лет и дочь — тридцати пяти. Сына она не женила, чтобы избежать всяческих хлопот, а к дочери никто не посватался. Егис-ханум выводила ее из дому раз в год, шла с ней в церковь, там держала ее где-то в углу, подальше от чужих глаз, разрешая открывать только одни глаза и нос.

Тетушка моя нарочно выдумала, будто Егис-ханум собирается сосватать сыну дочь Гоар-ханум. И плела бог весть что о дочери Гоар-ханум, которую она-де видела в бане.

— На руке два шрама — от болезни какой или от ножа, кто знает... Уж не думаешь ли ты сосватать ее за своего Смбата? — предостерегала тетушка.

— Не время еще моему сыну жениться, — говорила Егис-ханум.

— Сочла своим долгом предупредить тебя, — добавляла тетушка.

И спешила к другой знакомой.

— Дочь Азаран-ханум натирала ноги каким-то лекарством, наверно, болеет чем-то...

Где-то еще о третьей девушке:

— Лицом вышла, но тело... Я и то лучше сложена...

О четвертой:

— Волосата, как мужчина. Смотреть тошно.

И так без конца, без устали.

Как-то из предбанника вошла к нам в отделение какая-то женщина, попросилась у матери помыться с нами, мать, разрешив, куда-то вышла. В это время вдруг явилась тетушка. Увидев женщину, тетушка велела ей немедленно убираться вон.

— Вардер-ханум, — сказала ей Огабер-ханум (так звали незнакомку), — мне Маргарит-ханум разрешила...

И — пошло.

Огабер была не из робкого десятка.

— Вон отсюда!

— И не подумаю!

— Да чья ты собака, чтобы лаять на меня?!

Сбежалась родня Огабер, и представление началось. Огабер и несколько других женщин, сбросив с себя последнее, схватили тяжелые шайки и обступили мою тетушку. Одна из них поскользнулась и, растянувшись на полу, больно ушиблась, но тут же поднялась еще более разъяренная.

Тетушка пустила в ход банный стульчик, и пострадавшая от ее удара потеряла сознание. Но тетушка и сама вскоре лишилась чувств, последним усилием успев запустить стульчиком в Огабер. Подоспевшая мать положила конец драке. Я быстро оделся и бросился искать фаэтон, чтобы отвезти тетушку домой.

5

Старшего слугу, Григора, мы звали просто Гого. Но Гого был не только слугой, а, как говорил мой отец, управляющим нашего дома.

Гого был человек медлительный, широкоплечий, среднего роста, с красными от усталости глазами и больными ногами; феску он повязывал куском ситца, почти закрывавшим ему лоб. Гого покупал мясо и зелень, смотрел за садом, ходил по воду, носил в баню белье, сгребал с крыш снег — словом, делал все необходимое по дому. Он строго различал наших гостей. Тем, кто был ему не по душе, он прямо говорил:

— Твоя физиономия мне что-то не нравится, старайся поменьше попадаться мне на глаза.

Отец не раз говорил Гого: «Не суйся куда не следует». Но Гого стоял на своем, полагая, что у нас в доме до всего ему есть дело.

Бывало, отец пошлет его за Мартиросом-эфенди — поиграть в нарды[8]. Мартирос-эфенди был как раз одним из тех, кого Гого не жаловал. Не смея послушаться, он тут же отправлялся исполнять поручение. Но шел он вовсе не за Мартиросом-эфенди. Побродит немного по базару и вернется домой:

— Мартироса-эфенди нет дома...

Гого прожил у нас тридцать пять лет, и это давало ему право блюсти интересы нашей семьи наравне со всеми нами. Все наше хозяйство управлялось его совестью и смекалкой. Он проявлял трогательную заботу о каждой нашей щепке, о каждой картофелине и головке лука.

Как-то отец прислал к нам маляров. Гого рассердился, рассудив, что маляров можно было нанять и подешевле. Он решительно выставил их за дверь, не считаясь с тем, что у отца была договоренность с ними, и тут же нанял других.

Весной, когда наша корова начинала мычать так, что не давала никому спать, отец наказывал Гого позаботиться о ней. С удовольствием затягиваясь табачным дымом, Гого спокойно отвечал:

— Хаджи-эфенди, пусть еще немного побесится.

И, выждав несколько дней, он отводил ее в деревню Мореник, чтобы она там «перебесилась»... И действительно, из деревни Гого приводил ее уже притихшей и даже чуточку серьезной.

Приведет корову домой, тут же зайдет в курятник, возьмет свежее яйцо, разобьет его и помажет ей морду. Это была добрая примета.

Никто из нас ничего не смел срывать с деревьев: полновластным хозяином сада был Гого.

Случалось, запускали мальчишки камнями в отяжелевшие от плодов, свесившиеся через ограду ветки. Это служило поводом для дикой драки. Гого выбегал за ограду, хватал за шиворот первого попавшегося и часто сам возвращался жестоко избитым. Мать жалела его и говорила:

— Не горячись так, Гого, пусть себе проказничают...

— Ханум, — зло поводя глазами, отвечал он, — или Гого подохнет под этими деревьями, или они не будут соваться сюда!

Никто из нас так не любил наш дом, как Гого.

Мы повиновались ему. Любому из нас он мог залепить пощечину — имел на это право. Гого терял самообладание еще и в тех случаях, когда находил на выбеленных стенах следы от наших карандашей или ногтей.

Каждую осень Гого с матерью держали совет — что заготовить на зиму. И сколько бы мать ни говорила, что мало припасли масла, риса или других продуктов, — Гого твердил свое:

— Бережливым надо быть, ханум.

И всегда было так, как хотел Гого.

* * *

Гого был женат, но жена его жила в деревне, где имела небольшое хозяйство. Раза два в год приезжала она к нам, но видели ее у нас только мать да малыши: она не показывалась ни отцу, ни старшему брату — стеснялась. Лицо у нее было круглое и красное, как бурак, сама низкорослая, полная, на вопросы всегда отвечала односложно или кивком головы.

А однажды Гого спас мне жизнь, или, по меньшей мере, избавил от тяжелого увечья.

У нас в зале, на потолке, была надпись, сделанная еще при постройке дома: «Сыновья мои Акоп, Геворк, Левон — отныне наследники дома моего». А так как меня еще не было тогда на свете, в надписи мое имя не упоминалось.

И нашло на меня, что раз моего имени там нет, то я не могу быть «отныне наследником». Тайком вытащил я из подвала треножник и взобрался на него, чтобы вписать свое имя в список наследников. Не успел я приняться за дело, как почувствовал, что треножник уходит из-под ног. К счастью, на потолке, возле надписи, был железный крюк, на который зимой вешали большую лампу. Я ухватился за него и удержал треножник, но спуститься вниз не рискнул — треножник упал бы, отпусти я крюк.

В ужасе я стал звать на помощь. На мои вопли подоспел Гого. Он сразу понял, в чем дело, поддержал треножник, и я спустился на пол. Но Гого залепил мне оплеуху.

Я заслужил ее.

Вечером отец посадил меня к себе на колени и, глядя меня по голове, спросил:

— Зачем ты полез туда?

Доверившись ласке отца, я чистосердечно рассказал обо всем. Отец вдоволь посмеялся и при всех объявил:

— Мое единственное сокровище — мой самый младший, и этот дом после моей смерти — слушайте все! — будет принадлежать ему!

И спустя много лет после его смерти мать в мое отсутствие, когда пришлось заняться разделом наследства, предложила отдать дом мне, из уважения к памяти отца.

* * *

После смерти отца Гого проникся к нашему дому еще большей, почти фанатичной любовью, но взаимоотношения в семье были уже не те. К матери Гого относился по-прежнему, но с моими братьями не ладил.

Вслед за старшим братом и все остальные, едва достигнув зрелости, стали заявлять претензии на наследованный мною дом.

Они проявляли признаки неподчинения деспотизму Гого, смеялись над его управленческим пылом, но Гого долгое время старался не замечать этого, да и мать говорила:

— Не слушай ты их, они еще дети.

И тем не менее однажды Гого не выдержал и заявил одному из братьев:

— Послушай, сопляк, да я тебя с потрохами...

Это еще больше обострило его отношения с братьями, в особенности с младшим Левоном.

Привел как-то Левон своих одноклассников в зал повеселиться. Их было человек десять-двенадцать мальчишек-сорванцов. Гого это не понравилось. Он предложил Левону спуститься в сад, на лужайку, обещая принести стулья и подать сироп. Левон заупрямился.

— Не хочу в сад!

Гого решил было настоять на своем, ибо чувствовал, что авторитет его в доме пошатнулся, но мать удержала его:

— Оставь их, пусть себе веселятся.

— Ты меня убиваешь, ханум, — застонал Гого.

Наверху веселье было в полном разгаре: мальчишки курили, швыряли на пол окурки, кидались подушками и под конец разбили зеркало.

Прислушиваясь к шуму наверху, Гого долго сдерживал себя, потому что так велела ханум. Но безобразию следовало положить конец, — он не выдержал, поднялся в зал и выставил вон всех друзей Левона.

Левон, пристыженный, в бессильной ярости только кусал губы. Будь жив отец, Левон молча снес бы этот позор, по после его смерти — ни за что!

— Я здесь хозяин, и слуга не имеет права вмешиваться в мои дела, — закричал Левон, когда друзья покинули дом.

— Я не слуга, а тоже хозяин, — ответил Гого.

— Нет, ты не хозяин.

— Нет, я хозяин.

— Ты уйдешь из этого дома!

Это был первый открытый «бунт» против власти Гого.

Гого молчал. Молчал не потому, что не мог ответить, а потому, что сердце его переполнилось горечью: сорок лет преданно и беззаветно, честно и искренне служил он этому дому, вырастил на своих руках и Левона, и его братьев, и вдруг такое незаслуженное оскорбление... Горечь, капля за каплей, застывала в его глубоких морщинах.

Левон продолжал кричать:

— Он уйдет из этого дома!

Старший брат, Акоп, старался успокоить Левона, но тот продолжал кричать, что, кроме него и братьев — Акопа, Геворка, других хозяев здесь быть не может.

Теперь уже вмешалась мать, довольная сдержанностью Гого. Вначале и она спокойно увещевала Левона, всячески старалась избежать скандала, но тот распалялся все больше и больше, настаивая на своем.

— Тогда вот что, сын мой, — сказала она строго, — Гого живет в этом доме на двадцать три года больше, чем ты, и если наши порядки тебе не по душе, — можешь сам уходить.

Левон умолк. Мы стояли как громом пораженные. Мама просто-напросто выгоняла сына из дому. Мыслимо ли?

Левон молча покинул зал, а мать продолжала:

— Больше всех нас заботился об этом доме Гого, здесь каждый камень знает его, и чей это язык повернулся сказать ему такое? Стыд и позор!..

Последние слова мать, кажется, бросила нам всем. Мы стояли, понутив головы. Старший брат подошел к матери — ему хотелось заступиться за брата.

— Я его не выгоняю, — сказала она, — но если он снова потребует, чтобы Гого ушел, — уйдет сам.

Гого подошел к матери, поцеловал ей руну и сказал!

— Ханум, пусть Левон остается, я уйду. Я тебе так благодарен...

— Гого, — сказала мать, — ты себя с ними не равняй, пусть говорят что угодно. Ты слушай меня.

Гого молча отправился на кухню и стал разжигать огонь.

Вечером Левон не вышел к ужину.

Мать даже не поинтересовалась — дома ли он? Ужин прошел в полном молчании. После ужина Гого подал матери турецкий кофе в большой китайской чашке — из нее пил только отец, после его смерти никто ею не пользовался. Мать взяла чашку, заплакала вдруг, и мы заметили, что плачет и Гого. Заплакали и мы.

После долгого молчания мать объявила:

— В этом доме все останется, как было...

Это было сказано таким решительным тоном, что мы невольно вздрогнули.

На следующее утро, едва проснувшись, Левон сбежал в сад. Гого поливал там цветы.

Было чистое, свежее утро. Все еще колеблясь, несмело, но с внутренней решимостью Левон подошел к Гого и повис у него на шее. Лейка упала в траву. Гого обнял Левона, поцеловал и прошептал ласково:

— Сынок мой, хороший мой...

6

Мой старший брат Акоп держал арабскую лошадь. Выросла она в нашем доме, никогда не видела пальм, не раскидывала копытами горячих песков пустыни. Но в глубине ее глаз таилась живая душа Востока, и дикая тоска по просторам пустыни слышалась в ее ржании.

Маран (так звал свою любимицу Акоп) была черной, как смоль, с гладкими блестящими боками; белыми были только ноги да яйцевидная отметина на лбу.

Она никогда не знала узды и свободно разгуливала по всему двору; даже во время трапезы, когда все собирались за большим столом под навесом, она подходила, склоняла голову к плечу Акопа и, дождавшись своего куска сахара, шла к отцу и потом к матери.

Добрая мать, улыбаясь, как молодая невестка, тоже давала Маран кусок сахару.

Маран, аппетитно похрустывая, выходила в сад, тихим ржаньем давая знать, что она уже там. Услышав ее голос, Акоп вскакивал с места.

— Радость ты моя! — шептал он, замирая от счастья.

Помещение, где ночевала Маран (стойлом его нельзя было назвать), находилось под спальней наших родителей. Ночью, услышав тихое, ласковое ржанье Маран, отец говорил:

— Опять пошел к своей любимице...

По воскресеньям Акоп выводил Маран в открытое поле. Маран носилась там как ветер, как волна в море.

Для городских ребят было величайшим удовольствием смотреть, как резвится Маран. Она скакала по полю, потом вдруг останавливалась как вкопанная и смотрела своими красивыми глазами куда-то вдаль. Кто знает, о чем грезило это прекрасное животное?.. Потом она летела назад к Акопу, он раскрывал объятия, обнимал и целовал ее потную шею.

— Она не скачет, а летит, — говорили все.

Акоп приводил ее домой, а у Гого было уже наготове свежее яйцо, которое он разбивал о ее лоб, — от дурного глаза.

По окончании школы отец предложил брату поехать учиться дальше, но Акоп наотрез отказался: ведь не мог же он взять Маран с собой в Полис[9] или в Европу.

Никому из друзей и сверстников Акопа не сиделось дома; они бегали за девушками, высматривали их по всем закоулкам, дворам, в церкви, на улицах, возле бани. Предметом их разговоров теперь была женщина, это с головы до пят закутанное в чадру пленительное и таинственное создание, один голос которого будоражил их души.

Многие из его сверстников уже обзавелись семьями, иные обручились, а некоторые повадились ходить в дом Марины, где их накрывали не раз, но Акоп по-прежнему был полон одной Маран, ничто другое его не интересовало.

Самым счастливым для него был день, когда они с Маран поднимались на пастбища. Акоп брал с собой шатер, постель и кое-какую посуду. Это значило, что целых три месяца Акоп проведет в горах вместе с Маран, будет дышать одним с ней воздухом и по ночам, лежа под шатром, чувствовать рядом ее присутствие. Целыми днями Маран щипала

свежую траву, а насытившись, грелась на солнце. Акоп же сидел в тени шатра и любовался ею.

Он часто разговаривал с Маран, задавал ей вопросы, смеялся, порой ласково укорял ее.

— Марая, сегодня ты хорошо поела? — спрашивал он.

Лошадь ржала в ответ.

— Скоро домой поедem, — говорил Акоп.

Но Маран махала хвостом и мотала головой.

— Что, не хочешь? Значит, побудем еще?

Маран подходила к Акопу, срывала феску с его головы, трепала ее...

И никаких ссор и недоразумений между ними, как между близкими друзьями, не бывало.

По вечерам Акоп ложился у шатра и, уставившись в небо, пел. Маран, это беспокойное животное, слушала его не шелохнувшись. Когда же Акоп кончал петь, она грустно опускала голову.

— Спеть тебе ещё, Маран? — спрашивал Акоп.

Лошадь отвечала радостным ржаньем.

И Акоп пел:

Флакoн из-под духов, И в нем одна фиалка, Я так люблю Маран, Души моей частицу.
Жизнь проходила как легкокрылoе, бесконечное утро.

К середине осени Акоп и Маран возвращались домой. Мать и отец выходили их встречать. Акоп — возмужавший, загорелый, налившийся свежестью гор, и Маран — упитанная, с еще более ярким блеском глаз, с еще более заливистым ржаньем. Они приносили с собой аромат пастбищ и сверкание звезд. Стоило Маран заржать — вокруг становилось светлее, как если бы с неба свалилась звездная гроздь и рассыпалась в доме.

И мать говорила отцу:

— Хаджи-эфенди, теперь дом наш как дом.

Акоп и его Маран были неотъемлемой, необходимой частью нашего существования; их голоса отдавались во всех комнатах, заполняли весь дом, звенели в саду, в ветвях деревьев.

Иногда Акоп выносил колыбель со спящим ребенком, ставил посреди двора и говорил своей Маран:

— Прыгай!

Лошадь становилась на дыбы, легко перепрыгивала через колыбель и мордой тянулась к Акопу, а он в ответ целовал ее в отметину на лбу.

Одно удовольствие было наблюдать, как Маран всматривалась в спокойную воду бассейна и отскакивала, увидев в ней свое отражение. Наклонившись к воде, она фыркала, и тогда по глади бассейна пробегала рябь, отражение дробилось, и, радуясь своей победе над таинственным существом в глубине бассейна, лошадь с ржаньем проносилась по аллее черешен и обегала весь сад...

Если Акопу случалось надолго задержаться в гостях, он всегда старался улучшить минуту и провести Маран. Если же он не приходил, это означало, что мать обещала ему присмотреть за лошадью.

А когда Акоп брал Маран с собой (брал же он ее с собой часто, так как обычно его приглашали вместе с Маран, то есть «всей семьей»), он клал ей на круп яйцо и так отправлялся в гости. Маран старалась не уронить яйцо, шла медленно, плавно покачиваясь. Редко кто из прохожих не останавливался — поглядеть на искусство Маран.

Так жили два близких друга — Акоп и Маран.

* * *

Однажды на ноге у Маран появилась опухоль. Маленькая и еле заметная вначале, она увеличилась, превратилась в рану и стала гноиться. В городе был ветеринар, но он ничем не мог помочь. Тогда Акоп вызвал других врачей. И те не могли понять, в чем дело. А рана все увеличивалась.

На первых порах она не беспокоила Маран, но прошло некоторое время, лошадь утратила былую живость, погас прежний блеск в ее глазах; в серебристое ржанье вплелись тоскливые нотки.

Загрустил и Акоп. Даже отец с матерью впали в уныние. С каждым днем Акоп становился все мрачнее. Отец узнал, что в Себастии живет известный ветеринар, и отправил телеграмму с просьбой приехать и посмотреть лошадь. В ответ поступило сообщение, что через два дня врач выедет.

Прочитав телеграмму, Акоп улыбнулся и вдруг заплакал. Мать обняла сына, вытерла ему слезы и сказала:

— Не плачь, дорогой, приедет доктор, вылечит твою Маран, а не вылечит — отец выпишет из Диарбекира новую лошадь... Может, даже получше...

Кто-то сказал, что Маран сглазили. Мать достала из сундука крупную бирюзу и повесила ее на шею Маран.

Ветеринар запаздывал, он ехал на перекладных, а это значило, что, в лучшем случае, он доберется через восемь суток.

Однажды утром Маран околела.

Мы не отходили от Акопа, — он то плакал, то, сдерживая слезы, рассказывал о ней, горе его было безутешно. Посторонний никогда не подумал бы, что столько скорбных слез проливается из-за лошади.

Мать велела перенести кровать сына к себе в спальню. Родители, забросив все дела, занялись одним Акопом, окружили заботой, особым вниманием, старались отвлечь.

Отец и мать души не чаяли в Акопе не только потому, что он был их первенец: разница в возрасте между сыном и родителями была небольшой, и они дружили. Мать была еще почти ребенком, когда впервые почувствовала, как Акоп шевельнулся у нее под сердцем. Она даже не могла вспомнить тех дней, когда Акопа на свете не было.

Шли дни, но время не сглаживало горе. Тогда отец решил предложить сыну одно из двух: либо путешествие, либо женитьбу. Он был уверен, что любой выбор будет спасительным для него. Отец напомнил сыну слова из турецкой песни: «День, он пройдет, а ты не плачь».

Акоп выбрал путешествие.

Мать стала готовить сына в дорогу: сшила новую одежду, справила постель, купила шубу и зашила в пояс несколько золотых.

Она долго не могла проститься с сыном, отец же, сдержанно поцеловав его, сказал:

— Береги себя, сынок...

Все удивились выдержке хаджи-эфенди. Но когда коляска тронулась и, удаляясь, постепенно скрылась из глаз, отец поднялся к себе, открыл шкаф, залпом выпил две рюмки водки, и мы увидели, как он плачет, молча, содрокаясь всем телом. Мать, вся в слезах, подошла к нему. Он старался не смотреть ей в глаза:

— Вот теперь дом опустел, — сказал отец и попросил еще водки.

— Бог не пожелал счастья моему сыну, — прошептала мать.

Отец пробормотал какое-то страшное проклятье в адрес бога. Мать поспешно вышла из комнаты и перекрестилась...

Акоп возвратился посвежевшим и окрепшим. Он, казалось, даже стал выше ростом.

— Вернулся твой Акоп? — спрашивали у матери. И она отвечала:

— Вернулся мой тополек, вернулся.

Акоп видел море, большие города: Самсун, Полис, Смирну, Варну. Каждый день рассказывал он нам о своем путешествии. Мы слушали, разинув рты, ловя каждое его слово. Отец, не раз бывавший в тех краях, задавал вопросы:

— Был на Скутари?[10]

— Да, поднимался..

— А в Бояджи-гюх?[11]

— И там был.

— В Стамбуле хаш[12] ел?

— Ел.

— Молодец, сынок...

Мать радовалась, что Акоп побывал в местах, где бывал и ее муж.

— В Хавзе[13] в баню ходил?

— Нет, отец, не успел.

— Э, поехать в Хавзу и не сходить в баню?.. В другой раз не забудь сходить.

— Хорошо, — соглашался Акоп.

Путешествие Акопа было единственной темой разговоров в доме. Все только и делали, что слушали его рассказы, облачались в привезенную им одежду, развешивали на стены привезенные им подарки.

Мне он подарил красные чусты[14]. Когда я, нарядившись, вышел в них в город, мне казалось, что все разглядывают мою обнову.

Спустя месяц после приезда Акоп тайком от всех отпер «комнату» Маран, которую сам же запер перед отъездом, и вышел оттуда словно его подменили.

Воспоминания ли о Маран, а может быть, и скука провинциальной жизни сделали свое: загнали Акопа в тоску. Сначала это мало бросалось в глаза, а потом уже не на шутку стало беспокоить родителей.

Как-то, посадив меня к себе на колени, отец подозвал мать, и они заговорили об Акопе.

— Пора его женить, — сказал отец.

У матери радостно заблестели глаза.

— Если сумеешь убедить его...

— Похоже, что в Полисе девушки утерли ему молоко с губ.

Матери не понравились слова отца.

— Откуда ты знаешь? — возразила она.

— Значит, знаю, раз говорю, — отрезал отец.

Мать обещала поговорить с Акопом.

— Ты только не спугни его, — предупредил отец.

Конечно, девушка должна быть красивой. Отец предложил даже:

— Из какой семьи — неважно, была бы только хороша собой...

Мать прямо-таки опешила. Как, должно быть, сильно любил он Акопа, что решил поступиться своими принципами.

Она добавила.

— И хорошей чтоб была, и молоко у нее чтоб было доброе...

— Конечно, — согласился отец.

Шли дни. Поиски невесты ни к чему не приводили. Мать отчаивалась найти девушку, соответствующую образу, созданному воображением отца.

— Я хочу для сына девушку красивую, как богиня, — твердил отец.

Прошел месяц. Мать даже перестала говорить на эту тему.

И вот однажды отец спросил ее:

— Ну, Маргарит, нашла девушку?

— Ты ищешь ангела, а на земле живут люди.

— Да, ангела, ты права.

— Ангелов нет.

— Есть, — сказал отец, — есть, я нашел.

— Кого же?

— Дочь Григора-аги.

— Она еще ребенок.

— Не беда, тебе самой было тринадцать...

Мать стыдливо опустила голову, — а ведь он прав.

Потом спросила:

— А отдадут?

Отец был задет.

— Я попрошу — пусть только откажут: девушке тринадцать, парню восемнадцать, — почему бы не отдать?!

— А парень-то какой! — добавила мать.

Ехисапет, дочь Григора-аги, действительно была красивая девушка, именно такая, какая рисовалась воображению отца. Когда мать сказала о ней Акопу, он улыбнулся и обнял ее.

Зашли как-то вечером мои родители в гости к Григору-аге и, поговорив о том о сем, завели разговор о Ехисапет.

— Хаджи-эфенди, дочь моя — ваша, только я должен переговорить с женой, — сказал Григор-ага.

— Хорошо, — согласился мой отец.

На следующий день, вечером, нам принесли большой поднос пахлавы^[15] из дома Григора-аги — знак согласия.

Потом несколько дней наши дома обменивались подарками. А еще через восемь дней мать, вернувшись из бани, поднялась к отцу и сообщила, что там видела Ехисапет.

— Ну как она?

— Будто с луны сошла, — ответила мать.

Рассказала, как Ехисапет, с разрешения своей матери, пришла и поцеловала ей руку и как она не хотела отпускать от себя девушку, сама выкупала ее, расчесала волосы, одела, усадила в фэзтон и отправила домой.

— Ты правильно поступила, — похвалил отец.

Решили не откладывать дело в долгий ящик, вскоре последовало обручение Акопа, а затем и женитьба.

Мать позаботилась, чтобы свадьба была пышной, но с отцом у нее вышла нелепая ссора. Отец не хотел, чтобы его сына венчал священник.

— Привезем ее из отцовского дома, и на том дело с концом, — твердил отец.

Мать возражала:

— Хорошо, я согласна с тобой. Но захотят ли родители девушки, чтобы их дочь осталась невенчанной?

Отец понимал, что жена права — нельзя девушку приводить в дом без венца, но ему было досадно, что без священника нельзя обойтись. Наконец после долгих уговоров отец уступил и согласился венчать сына, однако настаивал, чтобы после венчания священник ему не попадался на глаза. Мать тайком от отца приняла священника, накормила, напоила его, заплатила деньги и сама проводила, наказав домашним ничего не говорить отцу. Хотя отец и подозревал жену в непослушании, он тем не менее ни о чем не догадался, так как все это происходило за его спиной и формально требование его было выполнено.

С появлением Ехисапет в доме стало светлей и радостней. Она была еще девочкой и вместе с нами играла в мяч, резвилась в саду и купалась в бассейне. Приходя домой, Акоп заключал ее в свои объятия, брал на руки и уносил в комнату, целуя и приговаривая: «Маран, милая моя Маран...»

Геворка, брата моего, следовавшего по возрасту за Акопом, я всегда вспоминаю с особой благодарностью, потому что его — единственного в нашей семье — я никогда не видел сердитым. Бывало, разойдется кто-то, начнет кричать, но появляется Геворк, мило улыбается, отпускает веселую шутку, и тут же воцаряются мир и спокойствие. До сих пор я не перестаю восхищаться его выдержкой, ведь люди обычно восхищаются именно теми достоинствами, которых нет у них самих.

Геворк был человек спокойный и уравновешенный. Пожалуй, единственной его страстью был кишмиш[16]. Да, кишмиш он любил. Он мало ел, разборчив был в еде, но к кишмишу питал особую страсть. Ради кишмиша он мог поступиться всем на свете.

Однажды Геворк заболел и лежал с высокой температурой. Отец подошел к нему и, приложив руку к горячему лбу сына, спросил:

— Геворк, хочешь кишмиш?

Геворк приоткрыл глаза, он никогда не отказывался от кишмиша, но на этот раз ответил с нескрываемой досадой:

— Нет, не хочу, я болен...

Тогда отец послал за доктором:

— Если он отказывается от кишмиша, значит, плохи дела.

Помню и другого своего брата — Левона, которого дома звали просто Лоло. Смуглая кожа, высокий лоб, темные, слегка вьющиеся волосы, большие черные глаза — таким был наш Лоло. Это он рвал и метал, когда сердился, это его голос гремел на весь дом, но в

груди его билось доброе сердце. Геворк никогда не плакал, никогда не терял самообладания, Левону же ничего не стоило выйти из себя, он становился свирепым, как зверь, но только отойдет — тот же ребенок, доверчивый и мягкий. Я восхищался выдержкой Геворка, однако всем существом тянулся к Лоло.

Я любил, когда Лоло, возвратившись с какой-нибудь прогулки с друзьями, рассказывал:

— Вошли мы в ущелье, и вдруг посыпался град величиной с кулак.

Спустя годы, когда Лоло оказался в Нью-Йорке, в этом чудовищном и страшном городе, его необузданные страсти нашли себе выход. Он окунулся в мутные воды нью-йоркской биржи, испытал взлеты и падения: сегодня он богач, а завтра — ни цента в кармане.

Я приехал в Америку на французском пароходе «Ла Турин». Лоло поднялся на борт.

— Как мать? — спросил он.

— Хорошо, только когда вспоминает тебя и Геворка — плачет.

Я заметил, что он прослезился.

Лоло взял меня за руку, и мы вместе вступили на американский берег. Всю ночь он показывал мне Нью-Йорк.

— Видишь, как огромен этот город, кажется, что он необъятный. Всего можно добиться здесь. Слово за тобой, покажи себя...

В то время на руках у него были акции железных дорог. Однако я не последовал за ним на биржу, окунулся в мир книг, окунулся с такой же страстью, с какой Лоло — в биржевой омут.

Месроповским письмам[17] впервые обучил меня учитель-сириец, господин Ашур — человек невысокого роста, широкоплечий, с огромным выпуклым лбом, лысый, с большими серо-голубыми глазами, с обвислыми усами, похожими на две пушистые мышки. От древних вавилонских статуй он отличался разве что очками, обстоятельством, несколько нарушавшим архаичность и величественность его облика.

Господин Ашур был еще и поэтом, он писал на полуграбаре[18], подражая старым мастерам. Он написал: «Сон младенца», «Плач на могиле благочинного Никогаеса-аги Азнавурянца», «Ангелы», «Благословение воину», «Мир семьям вашим», «Дщери небесные» и так далее и тому подобное. Все это он сочинял, разумеется, по разным поводам и посвящал разным лицам.

Это он, господин Ашур, заставил меня прочитать по складам первое предложение на грабаре: «Крест да поможет мне». Некоторые дети с трудом «призывали» «Крест в помощь». Для таких у господина Ашура был весьма простой метод — удар палкой. Справедливости ради надо отметить, что палочные удары, как правило, наносились по

мягкому месту. Все родители были довольны этим его методом воспитания. Более того, даже поощряли этот метод.

Выучив алфавит и научившись читать по складам, мы покидали господина Ашура и поступали в школу. В конце года он произносил речь, разумеется, на грабаре, из которой мы ничего не понимали, вернее, мы уясняли только, что речь эта содержит много ценных наставлений, смысл которых, однако, доходил до нас лишь позднее.

Но господин Ашур не забывал нас. Иногда, встретившись на улице, останавливался и приказывал: «Прочти-ка мне это предложение». Так он проверял наши успехи. Если мы читали хорошо — он улыбался, довольный, и бормотал под нос: «Хороший фундамент заложен, слава богу!»

В один прекрасный день господин Ашур объявился у нас дома. Его огромные глаза сияли и казались вдвое больше. За несколько недель до его визита мы похоронили Тиграника — маленького сынишку старшего брата. Я написал стихотворение по этому поводу и, никому не сказав ни слова, отправил его в Смирну, в еженедельник «Восточный журнал». Стихотворение напечатали — это было мое первое напечатанное произведение. Вот по этому поводу господин Ашур и зашел к нам.

Сказав несколько хвалебных слов в мой адрес, он повторил:

— Хороший фундамент заложен, слава богу!

7

У меня были три сестры — Хасик, Сирануш и Дзайник. Хасик была младше Акопа, но старше Левона и Геворка, я — самый младший из братьев — был старше Сирануш и Дзайник.

Мои воспоминания о Хасик всегда связаны с отцом: она подавала ему чашки, подносила воду, когда он мыл руки. Исключительно услужливой девушкой была Хасик.

Для меня осталось загадкой — чем ее пленил золотозубый приезжий из Америки? Подробности мне неизвестны, знаю только, что счастья с ним она не нашла.

Хасик всегда готова была служить другим.

Сирануш — девочка с большими черными глазами и пышными волосами, любительница поболтать и посмеяться — обладала редким даром выводить людей из себя тем, что, не прекословя, соглашалась с ними, но в этом согласии вечно сквозила неприкрытая ирония.

В школу мы ходили вместе, я сопровождал ее. На улице она брала меня за руку и прижималась ко мне. А я... я очень гордился тем, что охранял такую девушку. Я любил ее, потому что она не подтрунивала надо мной, и в ее отношении ко мне не было ни малейшей иронии. Несчастье постигло и Сирануш: ее мужа убили какие-то бандиты.

Дзайник — это вылитый я, родился я девушкой: те же голубые глаза, черные брови и пушистые ресницы. Ей ничего не стоило вспылить, по она быстро отходила. Я так хорошо понимал ее.

Многим она казалась непонятной, загадочной, а для меня ее характер был прочитанной книгой. Все ее поступки, даже самые нелепые, мог бы совершить и я.

Как часто я вспоминаю тебя, синеглазая моя сестренка! И когда я тебя вспоминаю, в моей памяти всплывают родные картины: наш сад, крыша нашего дома, цветущая акация. Вспоминаются желтые осенние листья, которые ветер сгребал в кучу; крупные хлопья снега... Тебе было отдано последнее молоко нашей матери, ты — последняя ее фиалка, последняя песня и последняя радость.

Кроме сестер моих, были и другие девушки, которые, ярко распустившись, благоухали на берегах моего детства.

Еще звенят в ушах их голоса, еще цветут их улыбки перед моими глазами. Они были веснами среди весен, цветами среди цветов.

Одна из них — Христина, с лицом цвета чистого застывшего меда, при встрече со мной вспыхивала вся, вспыхивала так, что, казалось, вот-вот сгорит. Маленькая, пухленькая, кругленькая, с руками тоже пухленькими, с ямочками.

Бывало, дерну ее за волосы, а она убежит и засмеется. До сих пор помню ее смех, он казался мне дивной песней.

Убежав от меня, Христина мчалась по дорожкам сада, взбегала на веранду дома, распахивала окна и заливалась смехом.

Христина была как звездочка, сошедшая с неба.

— Спустишь, — кричал я ей снизу.

— Не спущу, дергаешь за волосы.

— Не буду, иди.

Она спускается в сад. Я отхожу к зарослям кустарника. Она следует за мной, Останавливается там, где никто нас не может видеть, даже если будет подглядывать с неба, — в самой гуще зарослей, Христина мне кажется лампадой, зажженной чьей-то невидимой рукой.

Подхожу к ней.

Она опускает глаза.

Сердце колотится, вот-вот вырвется из груди. Беру ее за волосы.

— Дернуть?

— Дергай.

— Я не буду дергать тебя за волосы, — говорю ей шепотом и подношу ее косы к своим губам.

О, этот запах ее волос! Он словно исходил из чашечек всех цветов весны.

Я беру ее за руки, глаза ее загораются, и она снова убегает.

И — нет лампы в гуще зарослей.

Звездочка, сошедшая с неба, звезда моя, Христина, — я помню тебя.

С Вероной я виделся раз в год. Мы были обручены еще с колыбели, и, может быть, потому она смущалась при встрече со мной. Верона, маленькая и быстрая девочка, я помню твои жемчужные зубки, ямочку на подбородке и красивые руки. Помню твой лоб — высокий и чистый.

Я слышал, небо обрушилось на твои чудесные сады...

Помню Ребекку, мою двоюродную сестру. Рослая, крепкая и бойкая, она была девушкой умной и поэтичной, голубизна ее огромных глаз была столь беспредельна, что ее с лихвой бы хватило, чтоб восстановить весь обрушившийся небосвод. А небосвод обрушился-таки на белые, еще нераспустившиеся лилии ее жизни. Увезли Ребекку в аравийские пустыни, накололи на светлом ее лбу и щеках родинки...[19]

Сестра, преклоняюсь перед ужасной судьбой твоей...

Прими эти слезы брата.

Наша улица — часть той дороги старого Востока, которая берет начало в древнем Риме, доходит до бывшей столицы Византии, прерывается на миг полоской моря и, змеясь по всей Малой Азии, тянется мимо нашего дома до самого края света — Багдада.

Для нас Багдад и вправду был краем света. Из наших мест только один человек побывал там, и когда он возвратился, встречать его вышел чуть ли не весь город.

— Подумать только — человек до Багдада дошел и назад воротился!..

Когда же я стал изучать историю Греции и Рима и впервые прочел о нашествиях эллинов на Восток, о персидских войнах, о Ксерксе, об Александре, о Юлии Цезаре, о дорогах, проложенных римлянами, — нашу улицу я полюбил еще больше.

Мне казалось, что я вижу, как проходят перед нашим домом греческие и римские легионы, персидские войска...

Давно, еще в школе, рассказывая о каком-то походе, я умудрился провести эти войска по нашей улице, а мой учитель только улыбнулся и не исправил меня.

Улица, на которой мы жили, была в то же время дорогой, связывающей наш город с другими городами и селами. Во все времена года, каждое утро по нашей улице проходили вереницы людей из Старого города и окрестных сел: лавочники, торговавшие на базаре, ремесленники, батраки. И каждый вечер те же люди возвращались по нашей улице в Старый город и в села.

Был среди них и учитель математики городской школы.

Отличался он от них тем, что белый воротник его сорочки всегда был накрахмален, и тем еще, что ездил он на белом осле. Причем, вид у осла был куда солиднее, чем у седока. Осел отличался дурной привычкой: по утрам он издавал жалобный рев прямо у наших ворот, отчего вся улица просыпалась и крестилась. По этому реву сверяли часы. Те же, кто не имел их, возмущались:

— На «общественном» осле разъезжает, ему-то что!

Однажды в нашем доме состоялось собрание, на котором присутствовал и учитель математики. Председательствовал Никогос-ага. Как только математик вошел в комнату, слуга отвел его осла в сад и привязал к дереву.

В течение всего собрания я стоял на пороге и ждал момента, когда кто-нибудь из попечительского совета скрутит сигарку, чтобы чиркнуть ему под нос спичкой. На собрании горячо обсуждался вопрос о повышении жалованья математику. Математик настаивал на этом, а попечительство единодушно не соглашалось.

Учитель жил в деревне и не хотел переезжать в город. А раз он живет в деревне и каждый день ездит в город, то, понятно, у него лишние расходы.

Наконец один из попечителей, чьи усы загибались за уши и терялись в волосах на затылке, хриплым голосом сказал:

— Парон варжапет[20], разве мало вам осла?

Не успел математик раскрыть рот, как осел в саду заревел, заревел так, что все стекла в окнах задребезжали.

Математик повернулся к попечителю с длинными усами:

— Ну, получили?

Попечитель с длинными усами не растерялся и перешел в наступление:

— Если вы и в математике прибегаете к услугам осла, уважаемый варжапет, то с вас и взятки гладки.

В споре выяснилось, что математику осла выделил совет попечителей, вот почему все, кого раздражал рев осла, говорили: «На общественном осле разъезжает, ему-то что!»

* * *

Через несколько дней после того собрания надменный председатель Никогос-ага был публично посрамлен. Случилось это так.

В нашем городе была одна гулящая женщина по имени Марица. Была до нее еще одна, ее звали тоже Марицей. Так что многие вместо «гулящая» говорили — «Марица...» К примеру, один спрашивал:

— Откуда идешь?

Другой отвечал, прищутив глаза:

— От Марицы.

Марица... На нее указывали пальцем.

Указывали и не разговаривали с ней.

Парень, проведенный с ней ночь, делал на улице вид, что не замечает ее. Соседи Марицы наглухо забили у себя окна, смотрящие на ее дом, до той поры, пока этот содом и гоморра не переберется в другой дом, в другой город, или другую страну.

В бане перешептывались:

— Гляди, какие телеса, недаром к ней так лезут.

В бане к Марице не подходили, боясь подхватить заразу. Но Марица и сама ни с кем не общалась, садилась в стороне, на стульчик, и какая-то старуха, бывшая гулящая, некогда познавшая целое поколение мужчин в нашем городе, купала ее, новую героиню, растирала всевозможными благовониями.

По улице Марица шла не торопясь, с голубым зонтиком в руке (служанка шла следом за ней). В волосах у нее красовался гребень, похожий на голубиное крыло. Она искусно покачивала бедрами, косилась на мужчин, слегка улыбаясь.

В церковь она не ходила — все равно не пустили бы, и лишь изредка молодой священник приглашал ее к себе — приобщить к «слову божьему».

Как-то на нашей улице послышался необыкновенный шум. Все высыпали из домов, женщины выглянули в окна, дети взобрались на крыши.

По улице катилась орава мальчишек. И вся эта орава преследовала одного человека — Никогоса-агу.

Мальчишки улюлюкали:

— У-у, он был у Марицы!..

— Э-эй, э-эй, он вышел из дома Марицы!..

Никогос-ага то и дело поднимал с земли камни и бросал в мальчишек. Мальчишки разлетались, как воробьи, потом снова собирались и кричали:

— Председатель попечительства был у Марицы...

Вскоре к мальчишкам присоединились взрослые.

— Врут они, врут! — кричал Никогос-ага.

И бежал. Бежал запуганный, пристыженный, высматривая в домах открытую дверь, которая спасла бы его от безжалостных когтей позора.

Но все двери были на запоре, ибо никто не хотел участвовать в преступлении, которое мужчины совершали во все времена.

Когда Никогос-ага добежал до нашего дома, женщины наши опустили все занавески и заперли дверь.

С крыши я разглядел Никогоса-агу: по лицу его катились капли пота, на шее вздулись жилы, скривились губы, вытаращенные глаза выражали ужас.

— Всю ночь у Марицы пропадал, — продолжали кричать в толпе.

Отец мой к окну не подошел, он сидел на тахте, курил и хмурился:

— Зеваки, делать им нечего.

Наконец Никогос-ага добежал до базарной площади и скрылся.

Преследователи, успокоившись, разошлись.

С того дня никто в городе не встречал Никогоса-агу, магазин его не открывался.

Поговаривали, что и дома он никого не хочет видеть, уединился, курит без конца и все ходит из угла в угол, разговаривая сам с собой.

Спустя шесть месяцев прошел слух, что Никогос-ага погрузил все свое имущество на арбу и ночью с семьей покинул город и что на прощание он обернулся, махнул рукой и выругался.

Куда уехал Никогос-ага и что с ним случилось — так никто и не узнал.

Весна. На нашей улице цветут миндаль, яблоня, груша, слива и акация. На далекой вершине Мастара еще упрямо держится снег, а на полях, ярко-зеленых и усеянных цветами, солнце празднует победу....

Утром, когда деревенские телеги проезжают по нашей улице, на рогах волов белеют большие ветки цветущего миндаля, и кажется, что рога опушены снегом. Папахи же сельчан украшены розовыми ветками цветущей яблони.

Скрип телег начинался с самой рани, в тот волшебный, предрассветный час, когда сон особенно сладок и необорим. Доносясь издалека, этот скрип убаюкивал нас и обволакивал все существо предутренней дремой.

Телеги скрипели долго, протяжно.

Мы просыпались, начинался трудовой день, который длился до полудня.

Медленный и однообразный этот скрип можно было сравнить с музыкой, и веселой и грустной одновременно, в зависимости от того, как воспринимать. Когда меня донимали упреками, так что сердце готово было разорваться на части и слезы сами наворачивались на глаза, мне казалось, что каждый оборот колеса отзывается на мою боль и утешает меня.

Врывался в тележный скрип и звон кузнечных молотов — то частый-частый, то, наоборот, редкий.

Кузнецов на нашей улице было много. Я любил стоять возле какой-нибудь кузницы и смотреть на горящий горн, который напоминал мне разъяренного зверя.

Кузнецы с закопченными лицами и почерневшими, огрубевшими руками поднимали тяжелый молот и набрасывались на железо, чтобы сломить его упорство. Когда они вытаскивали из огня раскаленное железо, я приходил в восторг.

На вопрос домашних, кем бы я хотел стать, я, не раздумывая, отвечал: кузнецом. Ремесла более героического я себе не представлял.

Мне нравились лица кузнецов, черные от копоти, особенно их глаза, красные от отраженного в них огня. Я подходил поближе к наковальне, так, чтобы огненные брызги, вылетающие из-под молота, сыпались на меня. Мне очень хотелось хоть чем-нибудь походить на кузнецов. Я был уверен, что настоящий человек должен быть кузнецом, хотя бы потому, что только кузнецы, наработавшись, могут есть с таким завидным аппетитом один сухой хлеб с луком.

Дома хлеб с луком я не то чтобы с аппетитом, даже насильно проглотить не мог. Я пробовал себе смастерить горн и наковальню, но из этого ничего не получилось.

* * *

Теперь, когда я вспоминаю нашу улицу, перед мысленным взором встают друзья детства — собаки. Я всегда чувствовал их бескорыстную любовь к себе.

Свора собак была моей армией. И сейчас, если кто-нибудь грубо обращается с собакой, сердце мое сжимается.

На всех собаках и оставлял следы своей привязанности к ним. Например, я обрубил им хвосты: бесхвостыми они нравились мне больше.

Они любили меня, и эта любовь была особенной; искренней, нетребовательной, всепрощающей. Я бил моих друзей, они визжали от боли, но через несколько минут снова лгнули ко мне, лизали мне ноги, те самые, что причинили им боль.

Такова настоящая привязанность, именуемая собачьей.

Я проходил по старой римской дороге, сопровождаемый собаками — моей армией. Одни бежали впереди меня, другие — рядом, но главные силы моей армии держались позади. Каждую из них я знал по имени, знал, когда она появилась на свет, помнил даже ее родословную: прадеда, деда, отца. Я помнил, а собаки, будучи собаками, забывали даже самых близких — отца и мать, братьев и особенно сестер — и грызлись между собой, кусались. Пес Ало спутался со своей сестрой, и она родила щенят.

Друзья мои знали, когда я выхожу из школы: они выстраивались у дверей, встречали меня и провожали домой.

* * *

На тополе в нашем саду, стройном и высоком, как мраморный минарет во дворе исламской мечети, аист свил гнездо.

До тех пор, пока эта птица не возвращалась с юга в свое гнездо, для матери моей весна не наступала, и она никому не позволяла снимать зимнюю одежду. Но стоило нам завидеть аиста — мы влетали домой, сбрасывали с себя пальто, шапки и выбегали налегке во двор. На шум выходила мать.

— Кто разрешил вам снять пальто? — сердилась она, всплеснув руками.

— Длинноногий прилетел...

— Вот как!..

Чтобы убедиться в этом, мать поднималась на крышу. Аист высовывался из гнезда и стучал клювом. Она почему-то крестилась. Для нее было великим счастьем, что аист свил свое гнездо именно на нашем тополе. Со всеми другими крылатыми обитателями нашего сада мы имели право делать что угодно, даже разорять их гнезда, но аист был неприкосновенен. Впрочем, если кто и запустил бы камнем, все равно не достал бы до

гнезда. Вскрабаться на тополь, чтобы напугать аиста, тоже не имело смысла — не обратил бы внимания.

Однажды он не прилетел весной, и в дом пришла смерть. Конечно, совпадение было случайным, но мать верила в дурные приметы.

Случилось так, что аист не прилетел в свой срок еще раз.

Сжалось сердце матери.

— Смерть придет, — сказала она.

На всех членов семьи стала смотреть как-то особенно нежно, наверное, думала о каждом — не его ли черед?

Мы пытались рассеять ее тревогу.

— Пустое, мать, не бойся...

— Не пройдет и года — смерть придет, — повторяла она с глубокой верой.

И год еще не кончился, как смерть пришла. Она взяла отца за руки и увела туда, откуда возврата нет.

Мать плакала и причитала:

— Я ведь знала, что так будет, — не прилетел длинноногий.

* * *

От зари до зари трудились на нашей земле батраки. Зимой и летом, когда бы ни вставало и когда бы ни заходило солнце, мы просыпались, завтракали, шли на работу, возвращались, ели и ложились спать в один и тот же час. Батраки же осуждены были работать от зари до зари.

И солнце было безжалостно к ним, оно немилосердно жгло им спины.

От зари до зари звенели их заступы, врезались в землю и отливали на солнце холодной синевой.

В полдень они «обедали», садились под тенистым деревом и ели лук с хлебом, иногда вареную картошку и очень редко вареные яйца. Когда хлеб не лез в горло, они спускались к ручью, жадно пили холодную воду и мозолистыми руками вытирали мокрые лица.

Под вечер, когда длинные тени от деревьев сливались с сумерками, спускавшимися на землю, они брали заступы, забрасывали за плечи котомки и шли домой.

На лицах, руках, босых ногах батраков усталость проступала так отчетливо, словно они были выкрашены этой усталостью, как краской.

Весь мир восторженно приветствует восход солнца, лишь батраки приветствуют закат, приветствуют темнокрылую ночь, потому что она несет им долгожданный отдых.

И когда я смотрел на их заступы, сложенные под стенкой, мне казалось, что и заступы устали и спят.

И мать моя, такая добрая, не думала о наших батраках: женщина, которая каждое воскресенье приводила к себе нищих и садилась с ними обедать, которая помогала деньгами не одной семье и жалела, очень жалела всех голодающих, считала, что батраки должны начинать работу на заре и кончать ее на закате.

По субботам батраки выстраивались вдоль стены в ожидании платы за труд.

Получив, что им полагалось, они благодарили нас и расходились.

8

Еще не стемнело, горизонт пылает от заката, даже пыль на улице кажется розовой. Поредели прохожие, улица зевает, хочет спать, устала.

Домочадцы один за другим поднимаются на крышу, расстилают свои белоснежные постели, чтобы остудить их после дневного зноя.

В городе мир и тишина, перестали мычать коровы, потому что их подоили и оставили в покое.

— Помогите! Убивают... Скорей!..

Крик, полный страха и боли, ужасающий вопль. Это голос нашей соседки. Крик доносится из подвала противоположного дома.

Сбегаются соседи. Первым успевает мой старший брат. Он хватается за ветку дерева и, раскачавшись, спрыгивает с крыши прямо на улицу.

Я стою на крыше, дрожу всем телом, а наша соседка все кричит; «Помогите, скорей, убивают!...»

Чуть погодя мой старший брат вытаскивает из подвала двух юношей, держа одного за руку, другого за ворот. У одного изо рта течет кровь, волосы всклокочены, одежда изорвана. Они еще порываются вцепиться друг в друга, но могучие руки моего брата не дают им сойтись.

Мы о труде узнаем в них сыновей нашей несчастной соседки — Ваграма и Рача. Ваграму девятнадцать лет, Рачу — семнадцать. В день рождения Рача родилась и Вероника, дочь других наших соседей. Рач и Вероника были обручены еще с колыбели. Братья выросли, и пока Рач предавался мальчишеским забавам, Ваграм влюбился в Веронику.

Ваграм и Вероника, таким образом, согрешили. Рач знал об их любви, но так как продолжал еще играть в бабки и, подобно мне, возиться с собаками, не реагировал на это.

Но время шло... Рач вышел из детского возраста, стал понимать, что происходит вокруг, и сердце его сжалось: ведь Вероника принадлежала ему с колыбели — такова была воля родителей.

И хотя родители успели уже позабыть об этом обручении, Рач решил вернуть себе право на Веронику.

Сначала Ваграм был лишь соринкой в глазах у Рача, по соринка все росла и росла, стала мешать ему видеть мир.

Ваграм любил брата в детстве. Качал его колыбель, потом водил гулять, помогал готовить уроки, защищал от мальчишек-забияк, делал ему змея, научил плавать. Но один взгляд Вероники заставил Рача забыть обо всем этом. Он перестал разговаривать с братом.

Ваграм поначалу ничего не подозревал.

— Рач, дорогой, что с тобой происходит? — спросил как-то Ваграм.

Рач, молча, не двигаясь, долго смотрел ему в глаза, словно хотел проникнуть в глубину его души. И Ваграм понял: это ревность. Он опустил голову и отошел.

С того дня братья старались не встречаться друг с другом, и между ними встала стена глухой враждебности.

Щеки Вероники цвели румянцем, казалось, прикоснись к ним — брызнет кровь. Волосы — словно гонимый ветром маленький водопад, глаза манили, как два огонька в бескрайней пустыне. Всегда приветливая, всегда услужливая, живая девчонка была Вероника.

В тот день они с Ваграмом тайком спустились в подвал. Сели на поленицу, обнялись. Дверь вдруг закрипела, кто-то вошел, сделал два шага, остановился. Это был Рач.

Ваграм внезапно почувствовал ненависть к младшему брату, к тому, кого качал в колыбели и носил на плечах. Взгляды их встретились. Кровь ударила обоим в голову, братья бросились друг на друга.

Несколько раз они падали наземь, снова вскакивали, каждый тянул любимую девушку в свою сторону.

— Ты осквернил мою колыбель — выдавил из себя Рач.

— Верон моя! — зарычал Ваграм.

— Это мы еще посмотрим, — зло ответил Рач.

Они вцепились в девушку: Вероника забилась в их руках, как птица, попавшая в клетку, издала сдавленный хрип и потеряла сознание. Но разъяренные братья продолжали борьбу за девушку — и тут вдруг заметили, что она уже бездыханна. Тогда в бешеной ярости они кинулись друг на друга.

Ваграм изо всех сил сжал горло Рачу.

Рач содрогнулся от боли и сквозь стиснутые челюсти зарычал, как зверь.

Этот крик услышала мать и бросилась в подвал. Она нашла Веронику задушенной и растерзанной, а сыновей своих сцепившихся в яростной схватке.

— Помогите, помогите! Они загрызут друг друга... Убили. Они убили!..

Первым подоспел мой брат.

Страшная весть облетела весь город. А с другого конца улицы уже доносился душераздирающий крик другой матери, протяжный, страшный вопль.

— Доченька моя, кровинка, солнышко мое красное! — Это кричала мать Вероники, мать той девушки, которой уже не было в живых.

Вынесли наверх мертвую Веронику, мать подбежала, обняла неподвижную голову дочери и зарыдала.

Ваграм и Рач смотрели друг на друга налитыми кровью глазами, скрежетали зубами, и, если бы их не сдерживали, они растерзали бы друг друга.

Веронику внесли в дом. Плач матери становился все глуше и наконец затих.

Ваграма и Рача заковали в цепи и увезли в тюрьму.

Народ разошелся по домам. В этот день люди долго еще говорили о преступлении, пока сон не одолел их.

9

В городе я лучше всех умел клеить бумажных змеев. Мы делали их большими в поперечнике, длиннохвостыми и разноцветными. Летними вечерами, когда над крышами и улицами проносился ласковый ветерок, когда большое цвета абрикоса солнце еще нежилось в синей постели гор, мы запускали змеев с самых высоких крыш. Поднявшаяся с полей лиловая тьма повисала в воздухе тяжелыми покрывалами, и с нашего неба сыпались звезды, тысячи звезд — больше, чем с любого другого неба. А наши змеи парили в синеве этого неба и казались разноцветными фонарями. Потом синева сгущалась, и мы уже не видели змеев, — были только фонари, яркие, как луны, блуждающие, раскачивающиеся, ищущие и не находящие своих орбит. Каждый вечер над

нашим городом плыли десятки таких лун. Некоторые из них сгорали на глазах: взметнется в последний раз широкий язык пламени и исчезнет.

Однажды я, запустив змея, привязал конец шпагата к желобу и довольный прилег на крыше. Змей мой поднялся выше всех змеев, запущенных с других крыш. Вдруг я услышал, что желоб задребезжал. Не успел я вскочить с места, как он сорвался и грохнулся на мостовую. Я посмотрел вниз — не упал ли он кому на голову? К счастью, на улице никого не было. Я ужаснулся, ведь желоб мог угодить в отца, который возвращался домой обычно в эти часы. В глазах у меня потемнело, с трудом я оторвался от края крыши, побежал вниз, обрубил конец шпагата и стал быстро-быстро сматывать его в клубок. Змей, спускаясь, застрял в ветвях шелковицы, росшей в саду напротив. Я дернул за шпагат, он запутался еще больше. Я подумал, не взобраться ли на дерево, но тут в конце улицы послышался рев осла, на котором ехал отец; тогда я дернул за шпагат, оборвал еще раз конец, поднялся в комнату отца и побежал к окну: заметит ли отец желоб? Он заметил и спросил слугу:

— Почему желоб валяется на улице?

Слуга не сразу нашелся что ответить. Держа осла под уздцы, подошел к желобу и увидел конец шпагата. Смекнул, в чем дело, и объяснил.

— А ну, позови его ко мне, — велел отец и поднялся к себе.

Я сразу же понял, что мне следует спрятаться. Спрыгнул с подоконника, забрался в стенную нишу, куда складывали постели, и задернул занавеску.

Слуга долго искал меня.

— Хаджи-эфенди, его нет нигде, — сказал он отцу.

В комнату вошла мать, Отец спросил обо мне.

— На крыше, змея пускает, — ответила мать.

Она еще не знала о случившемся. Отец объяснил, в чем дело. Мать схватилась за голову и воскликнула;

— Вай, чтоб ослепнуть мне!..

От страха я сжался в комок.

Немного погодя мать встревожилась не на шутку:

— Ладно, что было — то было, но куда же девался ребенок?

Собрались братья и сестры. В доме поднялся переполох. Заглянули во все углы, только в комнату отца не вошли. Кто бы мог подумать, что я скрываюсь именно там.

Братьев послали к соседям и родственникам. Вскоре они вернулись:

— И там его нет.

— Поищите в саду, — велел отец.

Братья бросились в сад.

— Нет его.

— Может, темно, не видно? — тревожно спросила мать.

— Луна светит, — ответил старший брат.

Отец налил себе водки (я смотрел сквозь занавеску), но не выпил, рука застыла в воздухе. Видно было, что он расстроен сильно.

— Куда же девался ребенок? — прошептал он.

Голос его дрогнул.

Выскочи я в ту минуту из ниши, отец обнял бы меня; не знаю, почему я не сделал этого.

— Акоп, сынок, оседлай коня, поезжай к дяде, может, он там, — сказала мать. — Если там, не привози, пусть побудет несколько дней.

Минут через пятнадцать я услышал цокот копыт по булыжнику.

В комнате воцарилось молчание. Оно еще больше сковало меня. Лежа неподвижно, я незаметно уснул. Не понял, как это случилось, только шлепнулся вдруг на пол. Когда проснулся, вспомнил все. Попытался убежать, но старшая сестра поймала. Прибежала мать, смеясь и плача, стала целовать меня. Я уткнулся ей в грудь и не заметил, как вошел отец, почувствовал только прикосновение его усов и запах табака. Отец целовал меня и все повторял: «Ах ты паршивец, ах ты паршивец!»

Вскоре я снова услышал стук копыт.

То был брат.

Он крикнул еще с порога:

— Его нет!

Все рассмеялись, а я из-под локтя отца смотрел на старшего брата, глаза которого уже искрились добротой. Подбежал к нему, обнял. Он поднял меня на руки, высокий и сильный.

Но после того случая отец запретил мне пускать змея.

Проходило золотое лето, проходило впустую для меня. Каждый вечер я поднимался на крышу и с тоской глядел на блуждающие «фонари». А золото лета таяло, уходили последние теплые дни, и тоска все сильнее захватывала меня. Как-то под вечер, когда я сидел на; крыше и смотрел на чужих змеев, в час, когда в небе бегут оранжевые струи и сливаются в одно огромное пылающее море, мать поднялась на крышу. Увидев меня, она поняла, что творится со мной, почувствовала, какой черной тоской я охвачен в этот волшебный вечер. Подошла, обняла меня за голову, спросила:

— Чего тебе, родной?

Я посмотрел на блуждающие «фонари».

На глаза мои навернулись слезы.

— Я попрошу отца, чтобы он разрешил тебе пускать змея, только не привязывай его за желоб, — сказала мать.

— Не буду.

Утром я смастерил нового змея, самого большого из всех, какие у меня были.

* * *

Один из наших молодых учителей, с которым мы, малыши, были большими друзьями, как-то объявил:

— Мальчики, едем ко мне в село.

Мы слышали, что село их раскинулось на склонах Мастара, что растут там вековые деревья, в дуплах которых может разместиться целая деревенская семья. И еще, что бьет там из-под церкви вода, и этой воды так много, что она может унести телегу вместе с волами. На виду у села, извиваясь голубой лентой, протекала Арацани.

Под вечер мы отправились в село. Шли кратчайшим путем, иногда прямо по полям. Вокруг нас золотились колосья, над головой синел звездный купол неба. Идем, шутим, хохочем, пьем воду из ручьев, прозрачных и певучих, по краям которых зеленеет трава. Чем дальше, тем ниже небо, звезды сыплются прямо в глаза. Безмолвие нарушаем только мы.

— Хотите, подождем, пока зажжется утренняя звезда? — предложил учитель.

Мы остановились.

Тишина стала еще тише, небо опустилось еще ниже.

Мы растянулись на траве.

Воздух был чист и свеж, как ключевая вода.

Ни звука, слышно лишь дыхание уснувших товарищей, и кажется, что это — вздохи золотистых колосьев.

Вдруг невеста откуда на небе появилось небольшое облачко, ослепительно-белое, и заколыхалось в лиловом тумане. Оно постепенно расплылось, поредело и растаяло, как сон.

Глаза слипаются, но я жду утреннюю звезду.

Вдруг слышу голос товарища. Открываю глаза — над полями плывет солнце.

Утро принесло в поля новые запахи, спрятавшиеся за пазухой ночи, и сизые краски. Пробудились тысячи птиц.

С солнцем проснулось все.

* * *

Каждый вечер наш ближайший сосед, Алек-ага, выходил на порог и, заложив руки в карманы, разглядывал прохожих.

Многие здоровались с ним, а он в ответ лишь прищуривал один глаз.

Было Алеку-аге лет сорок пять. Он был холостым, и не было никакой надежды, что он когда-нибудь обзаведется семьей.

Рассказывали, что родители, которых уже нет в живых, тщетно пытались женить его, но никто не хотел отдавать в их дом дочь.

Алек-ага не пил, в бедняках не ходил, характер у него был тихий, как у овечки. Но вопреки кроткому праву, столь дорогому мамашам, у которых дочери на выданье, судьба ему не улыбалась. И всему виной — выражение лица Алека-аги, поражающее жестокостью. Дети боялись его, особенно по ночам. Даже близкие ему люди и те испытывали страх при встрече с ним. А жестокое выражение придавала лицу черная, длинная борода. Пожалуй, из-за этой вот бороды Алек-ага так и не сумел найти себе невесту.

Холостяцкая жизнь, однако, не тяготила Алека-агу, он смирился с действительностью. Но философия примирения с действительностью никак не устраивала его сестру Искуи, которая была моложе Алека-аги всего на пять лет.

До тех пор пока не женится старший брат, младшая сестра не имеет права на брак — гласил закон того мира.

— Как же может полезть в постель к мужу сестра, если брат еще не познал постели своей жены? — оправдывали этот миропорядок люди.

В конце концов Алек-ага и его ближайшие родственники пришли к выводу, что сестре надо выйти замуж, не дожидаясь, пока женится брат. Но чего она теперь стоила?

В сердце сорокалетней Искуи родилась безысходная тоска, тоска никем не обласканной женщины, обреченной на одиночество.

Шум, крик, бьется посуда — трах, трух! В этом невообразимом гвалте порой можно было услышать, как увещевает сестру Алек-ага: «Погоди, перестань, стыдно...»

Но не было больше у Искуи никакого стыда. За всю жизнь никто так и не обнял ее, не прижал к своей груди, — какой тут еще стыд?

Трах! — Искуи запустила в Алека-агу тарелку с супом, облила ему всю бороду.

Так жили в пустом, огромном доме брат и сестра. Жили и грызлись между собой.

Весной, когда корова призывно мычала и Алек-ага отводил ее в деревню, дабы успокоить, Искуи выходила из себя. Ей мало было пинков, проклятий. Она открывала дверцы шкафа, доставала старинную, дорогую посуду и швыряла в корову: тарелки переводила, чтобы отвести душу. В такие минуты невозмутимо смотрел на нее Алек-ага и говорил:

— Вот и хорошо, теперь успокоишься.

Алек-ага не был единственным холостяком на нашей улице.

Через несколько домов от него жил, хаджи-Согомон. Всякий раз, когда заходила речь об Алеке-аге, хаджи-Согомон вставлял:

— Алек-ага такой же осел, как и я.

Хаджи-Согомону было уже за сорок, голова седая, глаза косили, да и умом был слаб, зарабатывал на хлеб, латая вьючные седла. То, что он не был женат, имело свои особые причины.

Одно время с его женитьбой все было на мази. И вдруг умер отец. Через несколько лет скончалась мать, а еще через два года, после того как тетка с большим трудом снова уговорила его жениться, — он попал в тюрьму. Вышел из тюрьмы хаджи-Согомон совсем сломленным.

Так прошли годы, он поседел, стал покашливать. Наконец и он, и все родичи пришли к выводу, что дальше откладывать женитьбу нельзя. И хаджи-Согомон решил жениться.

В нашем городе принято было, когда гости, приглашенные на свадьбу, расходились, и жених удалялся с невестой в отдельную комнату, все мальчишки квартала собирались под окном, где был брачный полог, и затевали злую, глупую игру. Они приносили с собой предметы, производящие как можно больше шума: пустой бочонок, бидон из-под керосина, зурну[21], бубенцы, две дощечки или просто два куска железа. Мальчишки

прыгали, кричали, подзадоривали друг друга. К ним присоединялись все собаки в округе, которые так или иначе были заняты тем, что лаяли или выли всю ночь подряд. И вот в полночь, когда закончилось пиршество (было лето, и свадьбу справляли в саду), зажегся свет в окне спальни хаджи-Согомона, и кто-то задернул занавеску, Мальчишки подняли страшный шум. Неслыханный, дикий, варварский. Проснулся весь квартал. С постелей, разостланных на крышах, поднялись люди и в исподнем выстроились по краю крыши.

— Хаджи-Согомон!.. — кричал один. Другие подхватывали — Ха, хаджи-Согомон!.. — и все это под свирепую музыку бочонков, дощечек, железок, зурны.

— Хаджи-Согомон женится...

Остальные подхватывали, яростно шумели.

Все женихи считали подобное представление делом привычным, но хаджи-Согомон, не вытерпев этого глумления, распахнул окно и, высунувшись по пояс, разразился бранью:

— И не стыдно? Чего вам надо? Сукины вы дети!..

Хаджи-Согомон кричал так громко, что закашлялся и в бессилии захлопнул окно. На крышах поднялся хохот.

— Ослиная ты башка, не выдержал? Кто тебя просит высовываться?

И толпа проказников зашумела еще громче.

Хаджи-Согомон был доведен до белого каления, он открыл окно и завопил:

— Уходите, говорю!

— Хаджи-Согомон женится!.. — снова прокричал кто-то.

Его поддержали:

— Хаджи-Согомон женится!..

— Да, женится, а вам что до этого? Чтоб вашим родителям пусто было, негодяи! — крикнул он в ответ.

Проказники заметили, что кто-то в темноте тянет его в комнату.

— Пусти меня! — загремел хаджи-Согомон и отошел от окна. Это вызвало новый взрыв хохота.

— Эгей, хаджи-Согомон, попробуй-ка заснуть!

— Хаджи-Согомон жену себе взял...

— Хаджи-Согомон седло для жены сошьет...

— Вай, хаджи-Согомон, и впрямь женишься, да?..

Шум дощечек, скрежет железа, зурна, крики, хохот — все смешалось.

Один из мальчишек, плотный крепыш, кудрявый, с блестящими и бесноватыми глазами, вышел вперед, полная луна освещала его толстые, ухмыляющиеся губы. Он сказал:

— Ребята, никак хаджи-Согомон заснул, давайте в окно!

Несколько мальчишек бросились за ним, стали карабкаться вверх, а когда одному из них удалось дотянуться до окна и постучать по стеклу, хаджи-Согомон резко распахнул окно и одним ударом кулака сбросил мальчишку вниз. Упавший не ушибся, но это распалило детвору. Все гуртом бросились к окну.

Внезапно хаджи-Согомон объявился на улице.

Мальчишки разбежались, но хаджи-Согомон успел схватить одного и, бросив его под ноги, стал топтать.

Невеста хаджи-Согомона, укутанная во что-то белое, жалобно голосила:

— Согомон-ага, целую ноги твои, иди в дом.

Хаджи-Согомон не слушал и продолжал колотить мальчишку.

Мужчины попрыгали с крыш, схватили хаджи-Согомона.

— Ты с ума сошел! Осел этакий, убьешь мальчишку!

— Пусть подышает.

На ребенка плеснули водой. Напрасно: он был уже мертв.

Нагрянула полиция. Хаджи-Согомона арестовали и увели.

Толпа рассеялась, воцарилась тишина. И только невеста хаджи-Согомона рыдала всю ночь напролет, причитая:

— Венец мой на пол-дороге остался...

— Эх, остался... остался, — сокрушалась соседка и утешала ее.

— Не тужи, все наладится. Бог милостив.

Так хаджи-Согомон и не женился. Еще несколько дней прождала невеста в доме у хаджи-Согомона своего жениха, а потом вернулась под материнский кров.

— Бедняжка, так нетронутой и вернулась, — судачили соседи.

* * *

Сумерки, но на улице много народу, воздух теплый. Весенние дни. Луна.

Я играю с ребяташками. Вдруг — переполох. Народ собрался на одном конце улицы, все бегут, словно куры на корм.

Толпа молчит, на лицах озабоченность. Я тоже побежал.

Двое полицейских схватили нашего соседа Ншана-агу и тащат его. Ншан-ага изо всех сил отбивается.

В его руке большая корзина. Наверное, тяжелая, потому что он согнулся под ношей и у него на шее вздулись жилы.

— Что у тебя в корзине? — спрашивают полицейские.

— Виноград, — отвечает Ншан-ага.

Полицейские хохочут. Виноград весной? Ншан-ага запутался, не то сказал.

— Сушеный виноград, кишмиш, — исправляет Ншан-ага.

Полицейские требуют, чтобы он открыл корзину. Толпа бледнеет, ясно: Ншан-ага переправляет контрабандой патроны, и вот — попался.

— Какое несчастье! Его ждет тюрьма, ссылка, а то и виселица.

— Открывай корзину!..

Ншан-ага противится, умоляет отпустить его, уверяет:

— Открою, открою, только дайте в дом занести.

Но полицейские неумолимы, они раскрыли государственное преступление, их рвение будет вознаграждено.

Ншан-ага обращается к толпе и просит заступиться за него.

Никто не проявляет участия: боятся.

Наконец полицейские силой вырывают у него корзину. Раздается чей-то крик. Открывают корзину, и из нее с воплем и плачем выбирается женщина в чадре.

Ншан-ага остолбенел, уставился застывшим, растерянным взглядом в одну точку.

А толпа начинает громко и безудержно хохотать:

— Ншан-ага женщин корзинами таскает!..

— В корзине женщина оказалась!..

— Вай, дурак ты, дурак, женщину в корзину посадил!..

Женщина хочет убежать, но полицейские хватают ее.

Толпа разделилась на две части: одна окружает Ншана-агу, другая — женщину, хлопают в ладоши, издеваются.

Ншану-аге удастся вырваться из окружения. Толпа, оставив женщину, бросается за ним.

— В корзине женщину нес, поймали...

Полицейские отпускают женщину, и та, как угорелая, пускается наутек.

Так никто и не узнал, кто она была и куда скрылась.

Ншан-ага же побежал к дому, но побоялся войти: толпа могла осадить дом. Понесся дальше, преследуемый улюлюканьем разбушевавшейся толпы.

Потом нырнул в узкую улочку, выбежал на широкую, — толпа не отставала, все росла, и шум усиливался.

Но найдя выхода, Ншан-ага снова свернул на улочку и пулей влетел в свой дом.

Преследователи столпились у дверей, долго не расходились, передавая из уст в уста историю, где уже вместо одной женщины в корзине были две...

Посмеялись битый час, пошумели и разошлись.

Выйти на улицу Ншан-ага осмелился только через несколько дней.

10

Проходили мимо нашего дома и караваны верблюдов, те, что Шли от Междуречья до Себасти и других торговых городов Малой Азии; а осенью, когда наши сады ломились под тяжестью плодов, возвращались в бескрайние пустыни, в вавилонские и арабские города, богатые бриллиантами и камнями, сверкающими, как звезды.

Караваны привозили нам сладкие финики. С их приходом наш базар преображался. Город наполнялся мелодичным звоном бубенцов, протяжными, усталыми голосами верблюдов. Кроткие, мудрые верблюжьи глаза дышали миром, как небо пустыни. Верблюды молча взирали своими привычными к просторам глазами на стены нашей улицы, равнодушные к толпам мальчишек, которые бежали за ними, чтобы надергать шерсти на теплые носки.

Вот проходит верблюд, разукрашенный, как восточная невеста. На нем осколки зеркального стекла, бубенцы весенней звонкости, лоскуты щелка, разноцветные шерстяные нитки.

— Он — собственность караванбаши[22].

Хозяин каравана везет с собой семью, чтобы показать ей необыкновенные северные страны.

На спине разукрашенного верблюда — задернутые цветастым пологом носилки, которые покачиваются в такт его поступи. Лица женщин закрыты: снизу — до половины носа, сверху — до бровей; их черные глаза блестят и сверкают, как южное солнце. Женщины, полулежа на ярких подушечках, что-то жуют без конца, жуют неторопливо, с ленцой, подчиняясь ритму движения, мечтательными глазами разглядывают окна нашего города, крыши, мужчин, женщин. Верблюды покачивают их день и ночь — от вавилонских земель до малоазиатских городов и сел.

* * *

Караван собирается в путь. Подымается верблюд, взгляд устремляет на горизонт, слуга спешит приставить лесенку. Хозяин взбирается на носилки, располагается рядом с женой.

Поцелуи, звон бубенцов, ритмичный шаг каравана — все прелести путешествия.

Караван идет и день и ночь, останавливается, лишь что бы разгрузить товары, поторговать.

Когда караван вступал в город ночью, песня его бубенцов звучала особенно нежно. Караван приближался медленно, таинственно. Полусонные хозяева покачивались в однообразном его ритме, пока он не останавливался на одной из городских площадей. А когда покидал город — оставлял в нашем звездном синем небе перезвон бубенцов.

* * *

На одной из площадей города вот уже три дня как расположился чей-то караван. Острый запах верблюжьей шерсти, войлочных одеял, усталые вздохи и спокойные глаза верблюдов, низенькие шатры погонщиков. По вечерам горят костры. Погонщики кормят своих верблюдов и без конца поглаживают им бока. Люди эти почти никогда не смеются. Едва заметная улыбка быстро гаснет на их лицах, но взгляд исполнен огня, лучится, обжигает, в нем зной и спокойствие песков.

Караван наконец собрался в путь. Жалобный, тоскливый крик верблюдов объял весь город.

* * *

Но один из верблюдов не поднимается, он лежит себе.

Сбегаются погонщики, заглядывают ему в глаза и понимают: верблюд заупрямился. Бледнеет погонщик, ходивший за ним, — он боится хозяйского гнева, Верблюд не простил ему какой-то обиды. Подходит караванбаши и говорит погонщику:

— Останешься с ним, пока не пройдет эта дурь, потом догонишь.

Погонщик повинуется. Караван звенит бубенцами. Упрямый верблюд поворачивает голову, долго смотрит ему вслед, издает глубокий жалобный вздох. Хозяин останавливает караван: может, верблюд одумается? Как бы не так, — он лежит и ни за что не хочет сдвинуться с места. Караван продолжает свой путь к Междуречью, в вавилонские и арабские пустыни.

Погонщик упрямого верблюда расстилает войлок, заворачивается в абу[23] и укладывается спать в надежде, что наутро верблюд отойдет, забудет обиду, и к вечеру можно будет догнать караван.

Но проходят дни, а верблюд остается верен своему животному упрямству. Погонщик уже устал уговаривать его.

Осенние холода не на шутку встревожили южанина-погонщика. Запас еды иссяк. Нет никого из знакомых, чтобы обратиться за помощью, приходится есть заготовленное для верблюда жидкое тесто и давать понять мальчишкам, выщипывающим шерсть с верблюжьего зада, что если они принесут хлеба, он сам нащиплет им шерсти.

Через несколько дней на верблюде не осталось и клочка. Погонщик продал с него всю шерсть.

Мерзнет теперь и верблюд, этот герой пустыни.

И голодают они оба, хоть мальчишки и таскают им хлеб и остатки еды.

Несколько здоровых парней наконец взялись помочь человеку пустыни.

— Если подымется, тогда уж пойдет, — решили они.

Принесли два бревна, с большим трудом просунули верблюду между ног и стали поднимать его с земли. Подняли. Все были рады, а погонщик не в силах был сдержать свой восторг: блаженно улыбался, обнимал всех. Но через минуту-другую верблюд зашатался, опустился на колени. Погонщик впал в отчаяние.

— Ну и упрямец — удивлялись парни.

В этот день закружился первый снег, он таял, не достигая земли, потом стал садиться на наши одежды... О, эти белые снежинки! В них тончайшее искусство природы, более тонкое, чем искусство человека.

Мы любовались первым снегом, а человек пустыни... Для него ничего не могло быть страшнее этих белых снежинок.

В наш восторг, вызванный первым снегом, вплелась скорбь человека пустыни.

Смотрел и верблюд на эти странные белые хлопья и резким движением то и дело стряхивал их с головы.

И вдруг погонщик опустил перед ним на колени, закутался в абу и заплакал. Чтобы как-то утешить его, мальчишки принесли ему хлеба. Но он продолжал плакать. Слезы катились из глаз, терялись в жиденьких усах и бороде.

Верблюд уставился на погонщика немигающими глазами, словно хотел проникнуть ему в душу.

Вдруг верблюд вытянул шею, простонал жалобно, вздохнул несколько раз и стал подниматься.

Мы закричали:

— Встал, встал дэв![24]

Погонщик вытер слезы, собрал принесенный нами хлеб, навьючил верблюда и пустился в путь, улыбающийся, радостный.

Прохожие останавливались и с любопытством смотрели на упряма-верблюда, который, жалобно стеля, покачивался, уставившись куда-то вдаль.

Погонщик махал прохожим рукой, ловил монеты, которые они бросали, и спешил, спешил в пески — к жаркому солнцу юга.

Он удалился из нашей страны, где уже вслед за багрово-желтой осенью наступала суровая зима.

* * *

Осень уходила из наших мест поздно, задерживаясь, чтобы бедняки успели собрать опадыши, чтобы высохли разложенные на крышах фрукты.

Только осенью мы чувствовали всю прелесть солнца: она грело нежно, приятно.

Деревья в нашем саду делали желтыми, и багровые листья величиной с ладонь, лениво перевертываясь в воздухе, вспыхивали огнем в последних лучах солнца.

Начиналась борьба — схватка осеннего ветра с солнцем. И солнце уступало в конце концов ветру, который постепенно оборачивался жестокой стужей.

Наступала лютая долгая зима. Снег валил огромными хлопьями, покрывал улицы, сугробы поднимались до самых окон, потом — до крыш, дома зарывались в снегу.

И тогда двери закрывались, и люди входили в дом через слуховое окно.

Засыпав улицу, снег на время переставал идти. Жестокий мороз сковывал и уплотнял его, и он скрипел под ногами прохожих. По этому скрипу мы точно определяли, кто идет.

— Это Киракос-ага, — говорила мать. — Только куда он собрался в такую пору, не заболел ли кто? Ведь он уже тридцать лет зимой из дому не выходит.

Наутро мать посылала кого-нибудь из слуг к Киракос-аге, узнать, в чем дело.

— Кланяйся матери, скажи, ничего страшного: у ребенка живот разболелся и Киракос-ага пошел за лекарством.

— Слава богу, — от смерти только избавления нет, все прочее — пустяки, — философски замечала она.

Стужа держалась месяца три.

В бедных домах в эти месяцы вязали, обрабатывали хлопок, а в богатых семьях ели-пили, полнели, нагуливали жир, становились ленивыми, Сопливыми, разговаривали нехотя, спали до одурения и просыпались разве только для того, чтобы пожевать и снова завалиться спать..

Зимой многие женщины нашего дома налегали на соленья — в семействе ожидалось прибавления.

Начиналась очередная шумная возня на женской половине, потом крик роженицы сменялся воплем новорожденного. В каждой комнате, из каждого угла слышался плач. Через кухню пройти было невозможно: на уровне человеческого роста были протянуты веревки и на них висело детское белье. Ни разу за шесть месяцев не пустовали эти веревки, белье стиралось без конца и вывешивалось одно на другое — веревок не хватало.

Отец отчаивался: на улице — стужа, снег, дома — постоянный писк.

— Какое сегодня число? — справлялся он каждый день. И радовался, когда отвечали:

— Тридцатое.

— Еще месяц прошел, — вздыхал он с облегчением и начинал готовиться к отъезду. Спасался от детского крика он в Стамбуле. Уезжая, брал с собой список детей, чтобы никого не забыть, всем привезти подарки. Затем мать высылала ему дополнительный список новорожденных — часто преувеличенный.

— Чем больше привезет, тем лучше, — говорила она, — пригодится.

По возвращении отец передавал матери полный сундук покупок и ни во что больше не вмешивался. Было принято, что в знак благодарности женщины нашего дома с детьми на руках, одна за другой, подходили и прикладывались к его руке. А отец, довольный, улыбался и целовал детей.

* * *

В Ова Баглари был у нас сад.

Ова Баглари — прилегающая к городу огромная территория, занятая садами. Осенью, когда начинался сбор урожая — винограда и миндаля, хозяева садов переезжали на десять — пятнадцать дней туда, разбивали шатры и разводили костры, ибо по ночам сильно холодало.

В эту пору Ова Баглари, если смотреть с горы, напоминала пылающее небо. Вокруг костров пели, танцевали. Даже девушкам разрешали в эти дни петь и танцевать. Костры горели ярко, освещая лица молодых. В эти дни многие девушки находили своих суженых. Молодые по ночам исчезали за большими виноградными лозами с красными, налившимися гроздьями, и там разжигали вечный костер любви.

При тихом свете луны, плывущей в холодной ночной синеве, сливались губы влюбленных, души наполнялись счастьем. Юноша обнимал девушку, и казалось ему, что он обнял всю природу, землю со всеми ее дарами; казалось, он заключил в объятия не просто Заруи, а разгорающийся жаркий костер.

— А эти куда скрылись? — слышится голос.

Юноша и девушка замирают, крепче прижимаются друг к другу... Природа осенняя, исполненная живительных соков, растревожила их, опалила им души...

И после сбора урожая родители юноши торжественно идут к родителям девушки.

В доме у девушки никто не знает истинной цели визита, знает только она, потому что юноша оставил ей на крыше записку: «Вечером отец и мать придут просить твоей руки, не стыдись, скажи им: „Хочу за него“».

— Коли нас спросите, мы согласны, да вот захочет ли девушка? — отвечают родители.

И в полночь мать спрашивает:

— Заруи, ты слышала, руки твоей просят.

Дочь не отвечает, краснеет.

Мать передает мужу разговор с дочерью, — так, мол, и так...

— Э, отдадим, пусть берут, — решает отец.

Родители, таким образом, уже решили выдать Заруи замуж, но с окончательным ответом медлят, — так принято. Бывает, проходит месяц, а дочь все еще уговаривают как будто... Но когда родители невесты наконец давали согласие, ритуал обручения следовал тотчас за согласием.

Но случалось, что любовь, вспыхнувшая под гроздьями винограда, решительно отвергалась родителями несчастных влюбленных, — небо заволакивалось черными тучами, назревала беда. Мольбы и слезы влюбленных встречали каменное сопротивление родителей.

И тогда страшная весть потрясала городок: юноша бросился с крыши, девушка отравилась.

11

В наших краях не существовало никакого государственного или общественного учреждения, опекающего умалишенных. Сумасшедшие были в большинстве своем местные жители, хотя попадались среди них и иногородние, деревенские, и такие, что забыли даже, откуда они родом. Многие из них, сдается мне теперь, могли бы избавиться от мучившего их недуга. Но, выброшенные на улицу, безнадзорные, преследуемые невеждами и толпами мальчишек, издевающихся над ними, они становились неизлечимыми.

Провинциальное мещанство, готовое за нарушение устарелого, нелепого обычая, во имя сомнительной морали вздернуть человека на виселицу, само было настолько порочно, что не находило в себе даже капли сострадания к ним. Мещанство ликовало, когда мальчишки и невежды своими злыми шутками доводили несчастных до исступления.

* * *

Помню парона[25] Багдасара, учителя. Это был рослый человек, с длинной густой бородой и черными густыми бровями. Свела его с ума любовь к дочери квартального. Он просил ее руки, ему отказали: «учителишка, рыцарь пустого желудка». И вот, униженный, в черном французском рединготе, он оказался на улице.

— Парон Багдасар пришел! — кричали зеваки.

И парон Багдасар пускался наутек, как сбросивший всадника конь, с глазами, полными ужаса. Он бежал, то и дело оборачиваясь, тяжело дыша. Отовсюду — из дверей, из окон, с крыш — гоготали и орали:

— Парон Багдасар пришел!..

Как жил этот отверженный, где ночевал, — никто не знал в точности. Обросший, с длинными ногтями, грязный, он внушал мне страх. Даже теперь, как вспомню его, мороз пробегает по коже.

Другой сумасшедший, запомнившийся мне, был турок. Обычно тихий человек, нормально разговаривавший на любую тему, он вдруг приходил в ярость и начинал крушить все, что попадалось ему под руки. Чтобы он рассвирепел, достаточно было кому-нибудь прошептать в его присутствии — «фст». В отличие от парона Багдасара, турок был жесток,

поэтому многие обходили его стороной. Когда он выходил из себя, то избивал людей, опрокидывал лотки с товаром, громил витрины. Потом ярость его стихала. Но всегда находился какой-нибудь наглец, который подходил к нему с тем же «фст». И все повторялось снова, только в более свирепой форме.

Была и сумасшедшая девушка: уродливая голова, волосы растрепаны, подол всегда задран, пятки черные от грязи, в ссадинах. Она смеялась в лицо каждому встречному отвратительно и громко.

Если отец, придя домой, отказывался обедать, это означало, что ему встретилась сумасшедшая девушка.

Был и такой полоумный: в глубоком раздумье, заложив руки за спину, ходил он взад-вперед по улице. Никогда не обращал внимания на улюлюканье зевак, лишь изредка останавливался, иронически улыбался им и вновь погружался в свои мысли. Этот краснощекий и рыжий толстячок был не из местных, и никто не знал толком, откуда он взялся.

Если кто-нибудь давал ему хлеба, он подзывал собак, крошил им весь кусок, смотрел, как они подбирают крошки, потом хмурил брови и продолжал вышагивать взад-вперед.

Умалишенные... Разные были они, и число их все росло, но никто не сочувствовал им, никто не задумывался над тем, что надо учредить опеку над ними. Помню, приехал кто-то из Америки и сказал, что там этих несчастных содержат в особых домах. Все удивились.

— Ну и страна же эта Америка!..

Как-то отец, рассердившись, крикнул: «Сейчас сойду с ума!» Я ужаснулся, тотчас представив, что и мой отец может очутиться на улице!..

Сумасшедшие... Много было их у нас.

Один с виду вроде был нормальным, но, боже, семь лет не вынимал рук из карманов. Сжал в кулаки и не вынимал. Собрались как-то здоровые ребята и силой выдернули ему руки из карманов: деформировались совсем, помертвели. Кормили его дочери и сын.

Другой поднимался каждый день на высокую крышу и, свесив ноги, грозился броситься вниз. Никто к нему не подходил. В конце концов, как-то, потеряв равновесие, он так и свалился с крыши трехэтажного дома и расшибся насмерть.

Бывали такие, которые своих больных не выбрасывали на улицу, заботились по-своему: связывали по рукам и ногам, волокли на чердак, нанимали верзилу с дубиной и вправляли несчастному мозги...

Однажды летом объявился в нашем городе странный человек: босой, с непокрытой головой, одетый в лисью шкуру, спускавшуюся до колен. В руке — длинный железный посох, через руку — кожаная сума на тонкой цепочке, сам смуглый, как араб или индус, с жиденькой, но симпатичной бородкой, родинкой на лбу и красными губами. Человек этот не говорил, бродил и собирал подаяние, преимущественно — деньги. Прошел слух, что волей аллаха через семь лет он обретет дар речи и свой последний завет аллах передаст человечеству его устами.

Но как стала известна эта история, если он был нем, — никто не знал. И загадочный пришелец стал предметом всеобщего уважения. Уважение к нему переросло в почитание, когда заметили, что он к тому же бескорыстен: если подношение не вменялось в его небольшую суму — не брал, каким бы драгоценным оно ни было. Таким образом, люди вынуждены были подавать ему только деньги, порой золотые монеты. Ночи проводил он на турецком кладбище, в палатке, в которой горел слабый огонек. Говорили, что по ночам он молится и никогда не спит. Но откуда это было известно?

Он был обречен на семилетнее молчание, на существование без сна и отдыха, через семь лет он должен был сообщить человечеству новое слово, которое скажет ему аллах.

Каждый день взбирался он на минарет мраморной городской мечети, простаивал там целый час, уставившись в небо и сложив руки на груди. Внизу у мечети в этот час собиралась толпа, рождались легенды: с аллахом говорит, аллах рядом с ним стоит, да только нам, грешным, не дано узреть его.

Многие предполагали даже, что там, наверху, лишь образ странного человека, а сам он вознесся к аллаху и скоро вернется.

Но городские жулики не дали людям дожждаться последнего завета аллаха. Прикинув, что под лисьей шкурой святого человека, должно быть, уже набралась солидная сумма, как-то ночью напали на него и отняли суму.

Воров не поймали, но выяснилось, что этот святой, онемевший волей аллаха, обзывал грабителей последними словами и ни за что не хотел расстаться со своими деньгами. Всю мелочь, какую подавали ему, он обратил в золото, — воры не обнаружили у него ни одного медяка.

На другой день после ограбления человек этот исчез. Куда он подался, что с ним случилось, — никто так и не узнал.

* * *

Расскажу, кстати, и о другом случае.

Занесло к нам в город самого что ни на есть настоящего американца. Звали его мистер Джейкоб. Был он миссионер-протестант, приобщал христиан к святому духу.

Ни больше и ни меньше как к святому духу. Как он это делал?

Собирал протестантскую общину, читал ей наставления на английском языке (у него был переводчик), молился, закрыв глаза и воздев руки к небу, потом просил соблюдать несколько минут строжайшую тишину и, наконец, вопрошал:

— Кто проникся святым духом, пусть встанет.

На первых его собраниях вставали немногие, но потом святым духом проникались оптом.

Никто не мог объяснить, что он чувствовал в эти минуты, но, чтобы не отстать от других, вставал.

Те, кто исполнились святым духом, высыпали в шкатулку мистера Джейкоба все имевшиеся у них деньги. Шкатулка была вместительной.

Нашлись протестанты, которые решили покончить с этой игрой мистера Джейкоба, но они не встретили поддержки у остальных и вскоре сами потянулись к нему.

Целый месяц в городе только и было разговоров, что о святом духе. Нашлись и протестанты-ханжи, переставшие знаться с теми, кто еще не приобщился, они даже не здоровались с ними. На этой почве возникали семейные неприятности, разлады (родители или только муж приобщался, а сыновья и дочери противились, либо наоборот).

— Завтра пойдешь, и безо всяких там отговорок, — приказывал, скажем, муж жене.

Разгорался спор, и муж хватал палку или туфлю и начинал колотить жену.

Те, кто вначале подтрунивал над приобщившимися, сами шли к мистеру Джейкобу и теперь уже смеялись над другими.

Приобщившиеся не открывали больше своих магазинов. Перестали торговать, ибо занятие даже самым простым ремеслом считалось делом греховным.

Если магазин, до того еще бойко торговавший, наутро был на запоре, всем было ясно: хозяин приобщился.

В таких случаях в соседних магазинах шушукались:

— Приобщился, осел...

— Ну и ну...

Комедия приобщения к святому духу приняла такие размеры, что протестант, проходя мимо дверей другого протестанта, стучался в дверь и во всеуслышание спрашивал:

— Приобщился, Мурад-ага?

— Ты что, только очнулся? Дней восемь уже... Эх ты, осел.. — отвечал Мурад-ага.

— А я еще нет.

— С ума ты сошел! Завтра же пойдешь, стыдно.

Младшая сестра моего отца была замужем за протестантом. Она приобщилась одна из первых. И вот пришли к отцу моему с известием: «Сестра Ехо приобщилась...»

— Позовите ее сюда, — велел отец.

Пошли за сестрой, вместо нее явился зять:

— Хаджи-эфенди, она боится идти.

Отец в ответ:

— Какого черта она приобщалась, если боится, — и отпустил в адрес Джейкоба крепкое ругательство.

Наконец особо упорствующих уже можно было пересчитать по пальцам. Для них мистер Джейкоб, если верить безнадежным грешникам, прочитал последнюю молитву и, собрав деньги, уехал с полной сумой, положив тем самым конец первому действию комедии. После его отъезда началось второе действие. Приобщившиеся, увидев, что доходы их семей сократились, отложили в сторону Библии, с которыми не расставались ни на минуту при мистере Джейкобе, и один за другим стали открывать свои магазины. Лавки начали торговать, — последовали уличные скандалы. Тех, кто проникся святым духом, зло высмеивали. Просвещенные церковники, пользуясь моментом, исподтишка направляли торговцев друг на друга.

— Ну что, явился к тебе святой дух?

— А как он выглядит, твой святой дух? Он что, рогатый?..

— А может, святой дух — дьявол?..

Среди приобщившихся были такие, которые сносили издевки с гордым смирением, называя их «муками господними». Помнится, один из них, молитвенно сложив руки, вопил:

— Иисус Христос, твоим путем иду!..

Чтоб избежать насмешек, многие не торопились открывать магазины: выжидали, пока толпа утихомирится. Но толпа долго неистовствовала.

Через месяц пришла весть, что мистера Джейкоба где-то между Тигранакертом и Мосулом убил нечестивый злодей.

Когда об этом сообщили отцу, он сказал:

— Это не самое большое зло.

* * *

Протестанты... Как создалась их община? Каждый, кто таил в себе какую-либо обиду против священника, дьякона или даже звонаря, вступал в общину и становился «отступником».

Был у нас плотник, повздорил он раз как-то со звонарем григорианской церкви и его женой (они были соседями) — и ушел в протестанты. Звали его Мамбре.

— Господи, — роняя лживые слезы, молил он, — испепели наши души своим священным огнем.

Как только человек принимал протестантство, его начинали звать пароном. Так вскоре нашего брата Мамбре стали все величать пароном Мамбре.

Немец, герр Эйман, открывший колледж в нашем городе и энергично ратовавший за обращение горожан в протестантство, очень полюбил парона Мамбре, взял его к себе на работу, определил ему хорошее жалованье. Как-то Мамбре вышел на улицу в европейском костюме (подарок Эймана). Появись он в римской тоге, — не показался бы столь смешным. К новому костюму не подходили висячие усы. Он их сбрил. Однако парон Мамбре не хотел останавливаться на достигнутом. Решил же он нечто странное. Но самое странное было то, что это решение взялся претворить в жизнь.

И вот, в воскресенье, после моления, парон Мамбре с идиотским выражением на лице (такое выражение было признаком независимости протестантов) вошел к герру Эйману в кабинет и подавленным голосом заявил:

— Герр Эйман, я очень сожалею, что родился армянином.

Герр Эйман в ответ на это плюнул парону Мамбре в лицо, а на другое утро уволил с работы. Плотник крепко просчитался: был уверен, что герр Эйман, дабы утешить его, повысит по службе, а получилось... Он еще несколько недель усиленно молился, не пропуская собраний. Но герр Эйман был неумолим. Тогда он понял, что от протестантов — проку никакого. Скинув обнову, в старом облачении мастерового он вернулся в лоно григорианской церкви. Его первое появление в церкви было весьма примечательным: в течение всей службы он громко и истощно молился, рыдал, целовал ковер, сопровождая все это выкриками: «О господи, прости меня, осла грешного. О господи!»

После службы Мамбре самым торжественным образом помирился со звонарем и его женой, принес им свои извинения. Европейский костюм герра Эймана он отдал какому-то сельскому учителю, открыл опять лавку, отрастил усы и с радостью стал принимать прежних заказчиков.

Порой, когда в шутку его называли пароном, Мамбре посмеивался: «Оставьте, ради бога, как вспомню, мороз по коже продирает».

13

Был у нас родственник, очень дальний, которого звали зять Манук (и не мы одни, весь город звал его так). Худой, костлявый, долговязый человек, с маленькими, синими, глубоко запавшими глазками, настолько маленькими, что тетушка со стороны отца говорила: «Они у него шилом проколоты». Всякий раз, как зять Манук появлялся в нашем доме (надо сказать, что случалось это редко), взрослые с явным страхом косились на него. Тетушка шипела:

— Принесла нелегкая.

Зять Манук не обращал внимания ни на косые взгляды, ни на эти слова. Посмеиваясь, он спрашивал:

— Ну, как живете-можете?

Ему не отвечали.

Долгую паузу прерывала тетушка:

— Зять Манук...

Зять Манук тотчас перебивал ее, потому что по тетушкиному тону понимал, о чем будет речь.

— Знаю, знаю, что скажешь, помолчи...

Тетушка замолкала, да и не могла иначе: зять Манук был остер на язык и умел говорить беспардонные вещи.

Мы, малыши, любили зятя Манука, потому что он слыл человеком бесстрашным и рассказывал нам героические истории.

— Буран, значит, ни зги не видно, а мы сами на вершине горы, и вокруг нас волки...

Он рассказывал, а мы слушали, затаив дыхание. Только прервет рассказ, — мы хором:

— А что дальше, зять Манук, что потом?..

И он продолжал с жаром и воодушевлением. В такие минуты глаза его увеличивались так, что можно было разглядеть, что они синие.

Постепенно мы стали понимать, почему взрослые его сторонятся.

У зятя Манука не было магазина, и никаким ремеслом, в обычном смысле слова, он не занимался. Однако жил безбедно. Деньги он добывал тем, что обкрадывал похороненных

на турецком кладбище покойников. Турки умерших заворачивали в саван — кефин, а кефин этот был из шелка или из другой дорогостоящей материи. Зять Манук кефинов продал много.

Представьте себе человека, который один-одинешенек идет ночью по кладбищу, подходит к свежей могиле, вытаскивает покойника, бросает на землю, разматывает кефин, затем водворяет покойника на место, направляется к ограде и, перемахнув через нее, идет домой и спокойно ложится спать.

Узнав эту тайну зятя Манука, мы прониклись большим уважением к нему, хотя с тех пор и мы при виде его испытывали некий мистический ужас.

Когда домашние уговаривали его оставить это дело и стыдили, он отвечал:

— Ремесло у меня простое, мужицкое.

Было у зятя Манука и другое достоинство; он умел искусно имитировать собачий лай. И этот талант не раз выручал его на кладбище. Заслышав шаги или голоса, он поднимал страшный лай, и люди в ужасе разбегались. Даже армяне, жившие неподалеку от кладбища, услышав среди ночи этот лай, покрывались холодным потом, крестились:

— Опять он могилу раскапывает, о мать божья!..

Когда мимо окон зятя Манука проходила похоронная процессия, он скалил зубы и цинично замечал:

— О, мой хаджи-Мустафа к аллаху отправился, сегодня же раздену тебя, налегке скорей дойдешь...

И укладывался спать, чтобы ночью чувствовать себя бодрым.

* * *

Был у зятя Манука осел. Долгие годы служил этот осел своему хозяину. А когда состарился, хозяин решил продать его. Многие уговаривали: отпусти ты его на все четыре стороны. Но зять Манук продал осла. Все диву дались, отец сказал:

— Такого осла мог купить только осел.

Спустя восемь дней покупатель подал в суд — просил сделку считать недействительной, так как, — писал истец-покупатель, — осел не переваривает овса и, стало быть, вот-вот околеет.

— Что я, подрядился чужих кур кормить? — возмущался жалобщик.

Присутствующие на суде уже решили было, что зять Манук влип. Но зять Манук нашелся с ответом:

— Я осла продавал, а не мельницу.

Суд нашел претензии покупателя необоснованными и вынес решение считать сделку состоявшейся.

14

Полна странностей была жизнь на старой римской дороге, и еще более странными были армяне, возвратившиеся к нам из Америки. Они привезли с собой лишь внешний лоск, английские слова да искривленные рты: выговаривая слова, как английские, так и армянские, они кривили рты.

Взять хотя бы нашего знакомого, оболтуса Ованеса, который по возвращении из Америки почему-то вдруг стал пароном Ованесом. Говорил он по-армянски так, словно издевался над родным языком, казалось, что-то очень горячее перекатывал во рту.

— Ты смотри, как он английский выучил, даже по-армянски говорит как по-английски... — удивлялись местные простаки.

Составив себе представление об английском языке по «английскому» произношению неуча-миссионера и вернувшихся из Америки армян, я прямо-таки возненавидел этот язык. Позже, когда мне пришлось овладеть английским и получить американское образование, я понял, что совсем не обязательно кривить рот, когда говоришь на языке Шекспира, Диккенса и Байрона.

Это гримасничанье армян из Америки продержалось всего несколько лет: изнашивалась заокеанская одежда, забывались и заокеанские замашки. Нелепое «собак лайт» сменялось простым и понятным — «собака лает».

Отличались «возвращенцы» еще одной особенностью: у всех были золотые зубы, у всех без исключения. Золотые зубы считались у нас этаким шиком. Только благодаря этим золотым зубам «возвращенцам» удалось отхватить самых красивых девушек города. Жертвой золотозубого стала и моя старшая сестра. Мне не хотелось бы рассказывать эту историю, — так больно вспоминать ее даже спустя столько лет...

У оболтуса Ованеса было два золотых зуба. Из всех «возвращенцев» только ему не удалось подыскать невесту, во-первых, потому, что, переоценив свои зубы, метил он слишком высоко, и еще потому, что был оболтусом.

Через несколько лет по возвращении из Америки на лице оболтуса Ованеса появились морщины: слишком уж часто он смеялся, разевая рот, чтобы каждый имел возможность полюбоваться его зубами.

— Парой Ованес, хлеб купил? — спрашивали его.

— Да, купил, ха-ха-ха-ха.

— Как поживаешь, парон Ованес?

— Отлично, хи-хи-хи.

Или скажет ему кто-то: «Дождь идет».

— Да, дождь идет, ха-ха-ха.

Оболтус Ованес умер. Часа два хватался за живот, кричал, кричал и умер.

— Травы какой-то наелся, не переварил, — шушукались в толпе.

Смерть закрыла ему рот и, естественно, зубы его уже не обозревались. Родня же решила, что на похоронах зубы обязательно должны быть видны. Но как ни пытались раздвинуть губы, ничего не получалось. Задумались: что же делать?

— Как же так, чтобы и золотых зубов не было видно? — беспокоилась тетушка.

Родня спрашивала совета у всех подряд, но никто не мог помочь горю. Выручил один из родственников покойного: раздвинул ему губы двумя спичками и чуть прикрыл их усами.

На похоронах старая тетушка рыдала и причитала:

— Мир праху твоему, золотым зубам твоим!..

И оболтус Ованес, поблескивая золотыми зубами, словно смеялся ей в ответ.

* * *

Жила по соседству с нами семья: мать, сын и дочь. Говорили, что был когда-то в этой семье и отец, но уехал в Америку. И с тех пор о нем ни слуху ни духу. Сын Овсеп родился спустя два месяца после его отъезда. Мать писала мужу — ответа не получала. В конце концов потеряла всякую надежду на его возвращение. Стирала людям, не брезговала никакой работой, вырастила, поставила на ноги детей. И дочь и сын окончили школу, стали учительствовать, освободили мать от тяжелого труда. Жили они скромно, по своему счастливо.

И вот в один прекрасный день объявился в их семье человек — согбенный, седой, костлявый, с надсадным кашлем. Мать приняла его и сказала детям, что это их отец.

Брат и сестра встретили его холодно, но с уважением.

А через несколько дней весь квартал облетела страшная весть — «Овсеп убил отца». Весть подтвердилась, Овсеп и вправду разбил отцу голову.

Хотя факт был налицо, все же никому не верилось, что Овсеп, этот добрый, умный, спокойного нрава юноша, мог совершить убийство.

— Он не то что отца, даже петуха не мог бы зарезать, — говорили соседи.

Овсепа увели в тюрьму, и через месяц состоялся суд. Много, однако, выяснилось еще до суда, и чуть ли не весь город взял Овсепа под свою защиту. Суду были поданы ходатайства и петиции, лучшие адвокаты предложили Овсепа бесплатно свои услуги, но он заявил, что обойдется без защитников.

Преступление было совершено при следующих обстоятельствах. Отец Овсепа, парон Джон (так его звали в Америке), по возвращении домой, вдруг обвинил жену в измене и недостойном поведении в годы его отсутствия. Овсеп и сестра заступились за мать, заявив парону Джону, что мать их честная и всеми уважаемая женщина и что если даже провинилась бы она перед ним, то парон Джон не имел бы права осуждать ее, поскольку оставил на ее шее двоих детей, а сам уехал бог весть куда и не только не оказывал семье денежной помощи, но даже не интересовался ею.

Однако парон Джон упорствовал, у него есть, мол, доказательства, и он должен проучить жену. Подряд два или три дня сын и дочь старались унять, усовестить упрямого и потерявшего стыд отца, но тщетно. На четвертый день распоясавшийся парон Джон схватил чугунный утюг и запустил им в жену — метил в голову, но, к счастью, промахнулся, попал только в ногу.

Овсеп с сестрой и после этого продолжали увещевать его, но парон Джон так обнаглел, что выхватил из кармана привезенный из Америки револьвер... Тогда Овсеп стиснул отца в могучих руках, отнял оружие и, после яростной борьбы, хватил его головой об стену. Овсеп убил родного отца, которого несколько дней назад увидел впервые.

Выяснив обстоятельства дела, общественное мнение ополчилось против убитого и встало на защиту безвинного преступника.

На суде Овсеп говорил о горькой доле своей матери. И это растрогало всех — и судей, и присутствующих. Овсеп рассказал, как стирала его мать день и ночь, как кровоточили ее вспухшие пальцы; рассказал, сколько богатых и молодых людей просили ее руки, а она всем отказывала, чтобы не узнали ее дети, что такое неродной отец. И после всего этого какой-то незнакомый человек, какой-то парон Джон, входит в их семью, чтобы отравить им жизнь...

Суд оправдал Овсепа.

Когда Овсеп вернулся домой, мать обняла его и, обливаясь слезами, сказала:

— А ведь мог бы жить с нами по-человечески...

Овсеп не захотел больше оставаться в нашем городе, взяв мать и сестру, он переехал в другой город, чтобы ничто не напоминало о случившемся.

Я раскрыл еженедельник «Восточная печать», издаваемый в Смирне. Раскрыл у почтового окошка, где мы получали письма и газеты (тогда писем не разносили), и под одним стихотворением прочел свое имя. Мне показалось, что оно набрано золотыми буквами. И еще показалось, что я оторвался от земли и куда-то лечу.

К стихотворству влекло меня давно, я писал для нашей школьной газеты, редактировал рукописные журналы, но в настоящей печати стихи мои не появлялись. Мать, заставая меня по ночам за чтением и сочинительством, говорила: «Ложись спать, не выйдет из тебя Погос-Петрос». Это означало — не выйдет писатель. После опубликования этого стихотворения я не загордился, нет, только на какое-то время почему-то чуть посерьезнел и сказал матери: «А ты говорила, не выйдет из меня Погос-Петрос. Выходит, ошиблась?» Конечно, мать не могла оценить мои писания, однако, питая величайшее почтение к печатному слову, улыбнулась и поцеловала меня.

Моя комнатка... Моя маленькая, с отдельной лестницей комнатка находилась между вторым и третьим этажами и вся была забита картинами, книгами, преимущественно поэтическими. Два ее оконца смотрели на крышу второго этажа, из них я видел только верхушку соседского тутовника и просвечивавший сквозь его листву кусочек неба. В этой комнатке я написал свое первое стихотворение, читал Дурьяна[26], Мецаренца[27] и плакал над их стихами.

Мецаренц был кумиром провинциального юношества. Мы ненавидели кучку бездарных сочинителей, травивших нашего Мисака, писали ему теплые письма, ободряли его. Я получил в дар от Мисака «Новые стихи» и, признаюсь, прямо-таки сиял от счастья. Часами смотрел я на его портрет и повторял без конца: «И тронет рябь морская гладь моей души». Мне очень хотелось уподобиться Мисаку — отпустить бороду, но, увы, на моих щеках еще не пробивался даже пушок. Я мечтал, чтобы первая моя книга была напечатана, как «Радуга»[28] на той же бумаге, того же формата, в такой же, как она, обложке. Мечта моя сбылась. Но увы! Книга не произвела никакого впечатления. И тогда я понял, что есть нечто такое, что изнутри озаряет книгу, нечто присущее Дурьяну, Мецаренцу и не присущее мне. Моя первая книжка стихов дорога мне тем, что посвящена памяти Мецаренца, — дар, верно, недорогой, но тогда он заключал в себе все мое сердце. Годы спустя, когда в Полисе я поцеловал холодный камень могилы Мецаренца, мне почудилось, что Мисак заговорил со мной, заговорил о своей тоске по солнцу.

Чудесный певец оттенков спал посреди бесцветной равнины.

Теперь я уже не тот, я взрослый, а ты остался юношей, Мецаренц. Теперь руками взрослого и с нежностью взрослого я ласкаю твою юную, прекрасную голову, и льются слезы на книгу твоих стихов.

Когда мне холодно в этом мире, великий юноша, я прижимаю к сердцу книгу твоих стихов, твои песни, и солнце, воспетое тобой солнцем, согревает мою душу.

Были у нас и соседи-турки. Я и Шемси, сын нашего соседа-турка, выросли вместе. Как два брата, поклялись мы друг другу в верности, делились сладостями, вместе купались, вместе плакали и вместе дразнили его старшую сестру (она была старше Шемси года на два).

В противоположность Шемси — черноволосому, чернобровому, с глазами-угольками — Саней, его сестра, была такая светлая, что казалось, будто она соткана из воздуха. У них в саду росла большая акация, и я часто сравнивал Саней с этим светлым деревом. Говорила она немножко в нос, и мне это до того нравилось, что хотелось, чтобы все девушки говорили в нос, как она. Она, видимо, это чувствовала и была благосклонна ко мне. Шемси же вечно подтрунивал над сестрой.

О, смех Саней — срывающийся с небес голубой журчащий ручей...

* * *

Иногда мы с Шемси ссорились из-за пустяка. А то и без всякой причины. Он мне: «Ты гяур!»[29], а я тут же: «Ты ит»[30]. Словам этим выучились мы еще в детстве. В нашем городе турки звали армян гяурами, а армяне турок — итами.

Бывало, придут к отцу турки, ой угостит их как дорогих гостей, проводит с почтительными поклонами, но, глядя им вслед, непременно буркнет — «иты».

Любому турку, обозвавшему меня гяуром, я отвечал — ит, кроме Саней. Саней была как цветок акации, благоухающий в весенней ночи.

Увидев на улице закованного в цепи армянина, подгоняемого стражниками, армяне проходили, опустив головы, турки же останавливались, ликовали.

Я наблюдал и такое: несут по улице гроб турка, «иты» плачут, а армяне, подняв глаза к небу, шепчут: «Слава тебе, господи». Родовались, что одним стало меньше.

Почему это было так, я не мог уяснить себе, знаю только, что во мне невольно проснулась ненависть к «собакам», а в Шемси к «гяурам».

А Саней... Набежала на мою серебристую луну темная туча, а я не успел разглядеть ее, налюбоваться ею...

Саней проходила мимо наших дверей, вся словно закутанная в фиалковое облако, и мои глаза силились проникнуть сквозь ее чадру в звездные тайники неведомого мира.

* * *

Каждое утро и каждый вечер смотрит на меня из-за решетки окна чей-то глаз и неизвестная рука бросает мне под ноги цветок.

Зарешеченное окно — за несколько дверей от нас — принадлежит служителю культа, магометанину. По пятницам он здоровается только с магометанами и не отвечает на приветствия христиан.

Но и по пятницам та же рука, нежная, как утренний жасмин, роняет мне под ноги цветок.

Из окна, забранного решеткой, иногда доносится робкий смех, приглушенный крик радости.

Это — третья жена служителя культа, совсем еще юная, сидит дома, как птица в клетке.

Такая на душу легла тоска! Хочу увидеть ее, поговорить с ней.

Поднимаю с земли цветок, уношу домой и вдыхаю, вдыхаю его аромат. И передается мне от этого цветка неизвестная дрожь, неведомый трепет.

Служителю культа за шестьдесят, он горбатый, злой, желтоглазый, бреет худое скуластое лицо, холит бородку, красит ее хной. Выходя из дому, каждый раз наказывает своим старшим женам — глаз не сводить с Бахреи, не подпускать ее к окну.

Но Бахреи, захваченной весной, удастся, улучив момент, подойти к окну и даже высунуть руку и бросить цветок.

А как-то раз она мне шепнула:

— Завтра сойди в сад, старухи уйдут.

Этот голос пробудил во мне мужчину...

Я слышал слова Бахреи и пошел своей дорогой, но готов был поклясться, что она вырвала у меня сердце и унесла с собой за решетку. Я ушел, но голос ее все еще звучал в моих ушах.

Остановился я в тени какого-то дерева, посмотрел на узорные блики солнца на земле — увидел Бахреи, вслушался в шелест листвы — услышал Бахреи:

— Завтра сойди в сад...

Ночью поднялся на крышу дома, луна была прямо над крышей. Луна ли? Нет, лицо Бахреи — улыбающееся, с большими черными глазами.

Утром забрался на стену нашего сада, спрыгнул в, соседский, весть вымок в росе, а до Бахреи еще три сада...

И вот я там, куда звала меня она.

Я под цветущим гранатом, поодаль — куст сирени, он заслоняет меня, по Бахреи уже бежит, бежит ко мне. Подбежала, запыхалась. Обнял я ее, опьянел от ее запаха...

— Пошли, — говорит, — пошли в дом.

Служитель культа отправился чуть свет с двумя женами в Старый город, там шел суд из-за наследства. Заперли входную дверь: уверенные, что Бахреи из дому не выйти.

Взяв за руки, Бахреи повела меня в спальню. Обнимает, плачет, улыбается, целует...
Страх и восторг овладели мной. Бахреи — первая моя женщина... И вдруг она заплакала.

— Вечером они вернутся.

Я попрощался с Бахреи у цветущего граната, сорвал ой красный цветок и долго целовал ей руки.

Спрыгнув со стены сада, я расстался с первой в моей жизни женщиной.

Расстался навсегда.

* * *

На следующий день я встретил Веронику — двоюродную сестру Христины. Вероника была небесным созданием: светлоглазая, легкая, как лань. Каждый раз при встрече с Вероникой душа моя рвалась к ней, но теперь, теперь мою душу покрывала краска стыда.

Я взял ее за руки и вдруг заплакал. Хочу открыться ей, но не могу — сам стою перед закрытыми дверьми своей души.

— Что-нибудь с мамой? — спрашиваем Вероника.

— Нет, мама здорова.

Конечно, она никак не может догадаться о случившемся. Она еще не сошла с голубых холмов невинности, и ей еще не понять моего преступления. Вероника никогда, никогда не могла представить себе, что какая-то женщина, позабыв стыд, дала мне ключ к свято хранимым сокровищам своего тела.

Уходим в глубь сада. Под ногами шуршит трава, с деревьев свисают плоды. Решаю: как дойдем до тутовника, признаюсь в своем преступлении. Но Вероника начинает вдруг прыгать и кричать: «Лови меня!» Бегу за ней, не очень-то о стараюсь поймать ее, ловлю наконец, и... наши губы сливаются в поцелуе. Пока мы целуемся, листья на деревьях бьют в ладоши, а плоды рассыпают золотой звон.

— Верон...

Оборачиваемся. Это Христина. Она дрожит всем телом. Еле шевелит губами:

— Бено может прийти.

— И пусть приходит, — говорит Вероника и, вскинув руки, срывает с ветки плод.

Бено — брат Вероники и мой однокашник. И вовсе не от страха дрожит Христиана: она дрожит от того, что увидела, как мы целовались.

И Бено пришел. Мы вместе взобрались на тутовник. Солнце высушило тугу, и она стала еще слаще.

...Померк бирюзовый купол неба и над головой Вероники: подул смертоносный ветер пустыни, тело ее замело песком...

Только ранняя звезда уронила несколько слез, и над ней опустилась кровавая ночь.

* * *

Утро. Серое, мрачное небо, всю ночь сыпал снег, и земля покрыта белыми лилиями.

Зажав под мышкой сумку, выбегаю из дому, — спешу в школу. Собаки приветствуют мое утро.

Вижу — люди идут быстро, молча, заняты своими мыслями. На углу улицы стоит женщина, в глазах ее то же молчание, молчание бездонное, бескрайнее.

И такое вокруг царит безмолвие, точно снег — не снег, а саван. Инстинктивно чувствую что-то неладное. В меня вселяется страх, страх этот растет с каждым моим шагом.

Таинственно задерживается занавеска в одном окне, словно там не хотят впускать к себе свет наступающего дня. Кто-то открывает дверь, испуганными глазами оглядывает сверху вниз улицу.

Встречаю Григора-агу. Человек он медлительный, но тоже спешит.

— Ты куда? — спрашивает.

— В школу.

Хочет сказать еще что-то, по, махнув рукой, проходит. Кажется, бежит этот медлительный, как вол, человек, кажется, убегает от надвигающейся беды.

Со стороны большой городской площади идет группа съездившихся людей. Быстро проносятся мимо меня и они.

Почти все магазины на замке. Хотя не воскресенье и не пятница. Заглядываю в окна через закрытые ставни первых этажей. Вижу — люди забились в углы, сжались, молчат, только курят. Вот один поднял глаза на меня, улыбнулся сочувственно.

Чем ближе подхожу к большой площади, тем напряженной тишина на улицах.

Выскакивает из дверей женщина, непричесанная, в ночном халате, хватая мальчугана, волочит его в дом и запирает дверь.

Выхожу на площадь.

На белой-белой ее глади — черное пятно, вокруг него стоят четыре солдата с поблескивающими штыками. Один за другим подходят к этому пятну объятые ужасом люди, останавливаются, закрывают глаза и молча отходят.

Подхожу.

Вижу — лежит человеческая голова. На снегу — кровь, застывшая, запекшаяся. Поворачиваюсь, — распластавши руки, лежит в снегу человек без головы.

Замираю, стою как вкопанный. Один из солдат приказывает:

— Убирайся!

Отхожу.

...В тот день на рассвете султанская тирания обезглавила двух революционеров. Одного здесь, другого — на Верхней площади.

Впервые открылось мне истинное лицо жестокого деспотизма, ужасное лицо. Мне горестно, на душе тяжело.

Хочу уже домой повернуть, и вдруг — крики, топот ног, шум. Это толпа. Бегу.

— Фуад-бей! Фуад-бей!..

Фуад-бой — турок. У него красиво посаженная голова, мечтательные глаза, открытый лоб, одет в черкеску. Фуад-бей один их тех высланных из Константинополя смельчаков, которые заявили протест против зверской расправы над революционерами.

Вот он поднялся на высокий каменный приступок какого-то магазина, вот он заговорил, обращаясь к собравшейся толпе. И уже нет мечтательных глаз: глаза его мечут искры гнева, и весь он исполнен благородной ярости. Он сиял папаху, белокурые волосы ниспадают на широкий лоб. С трудом улавливаю отдельные его слова... Но тут на Фуад-бея налетают полицейские, связывают ему руки, волокут куда-то.

Толпа в ужасе рассыпается.

И слова — безмолвие, тяжелое, давящее.

Возвращаюсь домой. Занавески на окнах задернуты.

Никто — ни слова.

Обнимаю мать.

Она молча гладит меня по голове.

Крикнуть бы! Но я скован безмолвием. Город — точно большая могила.

Отрубленные головы... Но ведь только овцам головы отрубают?

Кто же обезглавил тех двух?..

— Ахмед Чавуш, Ахвед Чавуш... — передают шепотом.

И Ахмед Чавуш становится в моих глазах чудовищем, чудовищем из легенды, которого я никогда не видел и не мог даже себе представить.

* * *

В одну дождливую ночь не стало инспектора нашей школы, Акопа Симоняна, — его зарезали.

Наутро весть с молниеносной быстротой облетела город. Турки зарезали Акопа Симоняна! Турки — собаки!.. Возмущение охватило весь город. Армяне проклинали турок, их веру, Магомета, и то здесь, то там вспыхивали столкновения.

Весь день заседало собрание, было предложено телеграфировать о злодеянии в Константинополь, патриарху. Город наводнили солдаты. Вооруженные блюстители порядка начали арестовывать прохожих, причем только армян. Многие, чтобы избежать ареста, выходя из дому, обматывали фески белой повязкой. Так их не задерживали, пропускали, принимая за священнослужителей. К вечеру город наводнили «муллы».

Этот кошмар продолжался три дня.

Родственники инспектора школы не имели возможности похоронить покойника.

Погребение состоялось через три дня. Только на один день, чтобы принять участие в похоронах, арестованные были выпущены. Перед домом Акопа Симоняна собрались тысячи армян.

Тело предали земле.

С кладбища возвращались, опустив головы, и все выглядели пристыженными. Почему?

Выяснилось, что зарезал Акопа Симоняна вовсе и не турок, а молодой армянин, учитель, к тому же питомец самого инспектора.

Почему учитель убил Акопа Симоняна? (Убийцу звали Оником.)

Была у Акопа Симоняна родственница, красивая девушка, которую Оник любил. Родители девушки пришли однажды к инспектору, чтобы узнать, какого он мнения о бывшем своем ученике.

— Болван и сумасброд, — ответил им инспектор.

Родители передали дочери мнение родича-инспектора как самого уважаемого в городе человека. Дочь же, в свою очередь, рассказала об этом Онику. И вот Оник, болван и сумасброд, в полночь догнал инспектора у самого его дома и свел с ним счеты. Следовательно, турки никакого отношения не имели к этому убийству. Пристыженные армяне умолкли, но турки затаили злобу.

Через месяц после этих событий жену одного из «ярых» турок Ахмеда Чавуша нашли удушенной в постели.

Ахмед Чавуш был глашатаем. Он оглашал важные правительственные указы. Делал он это с превеликим удовольствием. Его хриплый, но высокий голос наводил ужас. Оглашаемые им указы всегда оканчивались жестокими словами: «...за непослушание — виселица!»

И вдруг в полночь в нашем квартале раздался голос Ахмеда Чавуша: «Армяне задушили мою жену и скрылись...» Голос доносился с крыши дома самого глашатая. Ахмед Чавуш не кричал, а вопил, нет, выл, как зверь, воздевал руки к небу и сжимал кулаки. «Армяне задушили мою жену и скрылись...»

Весь квартал всполошился. Проснувшиеся замерли в ожидании — утром быть беде...

Но беда не стала ждать утра, она нагрянула в полночь. Дом Ахмеда Чавуша был полон полицейскими, и вот что рассказал Ахмед Чавуш полицейским.

Армяне ворвались к нему в дом, связали ему, Ахмеду Чавутну, руки, заткнули ватой рот, потом кинулись к его, Ахмеда Чавуша, жене и задушили ее...

Даже армяне поверили этому: дескать, кровь за кровь. Много месяцев назад ятаганом мясника Ахмед Чавуш публично обезглавил двух армян-революционеров, а потом захватил пригоршней кровь, смочил бороду и в двух шагах от обезглавленных опустился на колени и помолился аллаху. Ахмед был единственным человеком, согласившимся тогда быть палачом.

С полночи до самого рассвета шли аресты армян. Утром тюрьма была переполнена. По дороге в тюрьму избивали арестованных, издевались над ними.

А дело было вот как. За несколько часов до того как произошло убийство, Чавуш сказал жене, что едет в деревню (ездил он туда часто), и пошел на базар нанимать коня. Конюх обещал, но заставил ждать. Прождав до полуночи, раздосадованный, он вернулся домой. А дома застал жену в объятиях молодого турка. Взбешенный Чавуш задушил их обоих. Труп любовника жены он бросил в колодец, затем полез на крышу и завопил: «Армяне задушили мою жену и скрылись...»

Труп убитого парня был обнаружен в колодце, и Ахмеда Чавуша арестовали. Родители молодого турка были люди богатые и влиятельные, потребовали суровой кары. Чавуша сослали в Копью, без права возвращения.

Арестованных армян выпустили, но не всех сразу, а по одному, и даже в самый последний день все еще допрашивали по делу Ахмеда Чавуша.

* * *

Подходит к лавочнику армянин у турок и, облюбовав товар, спрашивается о цене.

— Аршин — десять курушей, — отвечает лавочник.

— Отдай за пять.

— Не могу, сам за восемь курушей курил.

Турок требует: «Отдай!» Армянин не отдает, и турок уходит, полный ненависти.

Проходит день-другой, и поднимается на улице переполох — турки избивают какого-то армянина.

Выясняется, что бьют того само то лавочника, с которым турок не сторговался.

— Отдашь за пять курушей, гяур? — кричит турок.

— Не отдам!

— Диниме сёйди...[31] На помощь! Он нашу веру осквернил!

Вот толпа и набросилась на лавочника-армянина, избивает его, а он на каждый удар отвечает:

— За пять курушей не отдам, лучше даром берите...

Никто не спрашивает, какая связь между этими словами и магометанской святыней.

* * *

Случалось и так.

Несколько человек армяк останавливали в безлюдном месте турка: «Попался, собака», — и давай издеваться над ним. Они оскорбляли турка, турок — их.

— Ну, больше ты так отвечать не будешь, гадина! Убивали, бросали в яму и уходили.

Через день-два полицейские находили труп убитого турка, и начинались аресты.

* * *

У ювелира Тиграна был сад неподалеку от городской бойни. Однажды в полдень зашел к нему турок с корзиной, попросил винограда. Тигран отказал ему, но вмешалась мать:

— Дай, а то врага наживешь.

Тигран дал ему винограда, но не полную корзину. Турок потребовал наполнить ее доверху.

— Не подымешь, тяжела будет, — сказал Тигран раздраженно, давая тем самым понять, что торг считает закопченным.

Турок уперся, — нет, наполни доверху. Мать снова вмешалась, но Тигран озлился и отказал:

— Хватит, и так вот сколько даром уносит.

Они сцепились.

Тигран был худ и щеделушен, а турок силен и широк в плечах. Тигран остался при синяках да с выбитым зубом в придачу. Никто из очевидцев не заступился.

— С собакой лучше не связываться, — говорили они.

Спустя пять дней Тиграна вызвали в суд.

Я тоже пошел послушать и посмотреть разбирательство этого дела, несмотря на запрещение матери ходить в подобные места.

Турок явился в суд, обмотав голову белым платком. Он заявил, что Тигран ударил его камнем и рассек ему голову, представил суду справку — врачебное свидетельство об увечий. Тиграну дали два месяца и, избивая, потащили в тюрьму.

Тигран только одно просил, обращаясь к суду:

— Развяжите ему голову, проверьте, есть ли рана....

Суд нашел достаточной и справку врача.

Когда Тиграна увели в тюрьму и мы вышли из зала суда, я собственными глазами видел, как турок, сделав несколько шагов, с невозмутимым видом размотал платок и сунул его в карман, — никакой раны, даже царапины на его голове не было.

Однажды днем обрушилось на нас страшное известие, — армянин-цирюльник перерезал глотку своему клиенту.

Весть с молниеносной быстротой облетела город. Все поспешили закрыть магазины и укрыться в домах. За четверть часа городской базар принял воскресный вид: совершенно опустел.

Оказывается, цирюльник брил турка, когда к нему зашел знакомый армянин и шепнул на ухо:

— Такое на улице творится: все перемешалось — турки, армяне. Что ты тут делаешь?

То была лишь шутка.

Цирюльник же решил, что началась резня, а значит, незачем упускать момент — в кресле дремал турок, — и, не долго думая, перерезал ему горло. Затем с бритвой бросился на улицу, чтобы присоединиться к толпе. Мирная тишина улицы огорошила его. В ужасе от содеянного он вскочил на коня и умчался прочь из города. Вечером полицейские волокли его жену в тюрьму, били и требовали, чтобы она сказала, где скрывается со муж.

* * *

Провозглашена османская конституция. Поцелуи, объятия, излияния, уверения в любви, в братстве.

Отворили ворота тюрем, выпустили политических заключенных, среди них и двух моих учителей.

Перед зданием правительства состоялся митинг свободы, выступили турецкие революционеры, говорили о Канун Эсаси[32]. Я впервые видел турок-революционеров. Мне говорили, что турки революционерами не бывают.

Возвращался я с этого митинга усталый, весь в пыли, голодный, но радостно возбужденный.

На одной улице повстречался мне Шемси.

Давно мы с ним не виделись. Он обозвал моего отца гяуром, я его отца — итом. Тут уж были оскорблены наши родители, и мы с Шемси поссорились. Лично я не мог не поссориться с Шемси еще и потому, что, когда он обозвал моего отца гяуром, тот уже был в могиле...

Шемси взглянул на меня краешком глаз.

Я тоже.

Я улыбнулся.

Он тоже.

Не могу рассказать, как наши ноги понесли нас навстречу друг другу и мы обнялись.

Шемси затащил меня к себе. Чужим показался мне их старый дом. Он провел меня в комнаты, поправ гаремные обычаи их дома. Я поцеловал руку его матери, обернулся и увидел Санеи. Она улыбнулась. Руки наши встретились.

Давно не видел я Санеи без ее фиолетового облака. В ней немного, совсем немного стало меньше воздушности.

Я крепко сжал ей руку, она зарделась и что-то шепнула, поворачиваясь к матери. И столько женственного было в этом шепотке, что я тотчас представил ее купающейся в бассейне, представил, как вода бассейна впитывает в себя солнечное тепло ее тела.

* * *

Поцелуи и объятия после провозглашения конституции не помогли, потому что уже через несколько дней «мудрейшие» из армян стали шептаться:

— Как бы нас не обманули.

«Мудрейшие» из турок тоже не отставали:

— Будьте начеку, армяне хотят овладеть нашей страной и искоренить нашу веру.

Время пыталось все повернуть вспять.

* * *

Еще в детстве знали мы такую игру: «армянин и турок». Игра была простая: набросав кучу камней и назвав ее крепостью, мы делились на две группы, в одной — армяне, в другой — турки, и начинали брать крепость.

— Эй, турки прорвались!..

— Армяне подходят к крепости, дай им по башке!..

И это считалось невинной игрой.

Развлекались мы таким образом до самой империалистической войны.

А в ней, в империалистической войне, была сыграна, собственно, та же игра, с той только разницей, что теперь стороны представляли настоящие армяне и настоящие турки и играли они всерьез, на настоящей земле, сжигаемые ненавистью друг к другу.

Никто, ровным счетом никто не говорил нам в детстве: бросьте эту игру. Мы играли, а взрослые усатые люди, снискавшие себе славу людей серьезных и мудрых, смотрели на нас и улыбались.

Каждый раз перед началом игры вставала перед нами понятная трудность: никто не хотел быть «турком». Приходилось тянуть жребий, кто вытягивал «армянина» — ликовал, а кто «турка» — вешал нос.

Да, мы росли в такой атмосфере.

И грядущим поколениям расскажут удивительную сказку:

«Жил да был на свете немногочисленный древний народ, и земля его простиралась от моря Ванского до моря Средиземного и от Багдада до Византии. Был он землепашцем-

бедняком, ремесленником, интеллигентом, торговцем, помещиком, банкиром, большим государственным чиновником, дворником, слугой, рабом и прочим. Пламенно любили этот народ его богатые сородичи, жившие за границей, питали к нему искреннюю любовь и министры западных правительств, потому что была у этого народа высокая культура, которую они распространяли по всему Востоку. Движимые пламенной любовью, министры и сородичи толкали этот народ на войну с его соседями — народами другой веры, крови и культуры, — который, однако, значительно превосходил их численностью и оружием. И грянула ужасная война. Весь мир потонул в пороховом дыму, потекли реки крови. И крикнули на ухо этому древнему народу западные министры и богатые его родичи: „Пробил час освобождения, бей своего соседа,хвати по его полумесяцу крестом своим“. Черные, красивые глаза этого древнего народа блестят, жаждут свободы, и начинается неравный бой: крошат, бьют, и от народа этого остается горстка людей — как печальная память о кошмаре. А после битвы с наглым цинизмом смеялись над костями и пепелищем министры и богатые родичи.

С неба упало три яблока...»

17

Было в той стране, где мы родились, поколение детей, которое выросло позади бань, на неостывших кучах золы.

На языке турок это было поколение кюльхан беев — князей зольных куч, — ни у кого из них не было отца, как у Христа из Назарета, родившегося за тысячу девятьсот тридцать лет до нас, потому что в наш век не сыскался бы святой Иосиф, готовый взять в жены деву с младенцем на руках. «Святые девы» оставляли своих младенцев, едва поднявшихся на ноги, среди куч золы, позади бань, и те росли себе без Иосифов и без матерей.

Зимой они разгребали золу, зарывались в нее, спасаясь от жестокой стужи.

Князья зольных куч жили впроголодь, полуголые, слонялись вокруг мечетей, хватая оплеухи.

Питались они на помойках обедками арбузов, дынь, всякими очистками, — кто был посильнее, добывал более вкусную еду: один из лап бездомной кошки кусочек мяса вырвет, другой — баранью голову из мясной лавки стащит, третий — яйцо на каком-нибудь базаре...

В полдень князья сходились за казармой, — туда солдаты сливали остатки хараваны[33]. Случалось, что нападали на телеги крестьян, привозивших в город продукты. Избиваемые в кровь, разживались зерном или мукой. Особенно дружно бросались на телеги, груженные сахарной свеклой, потому что могли испечь ее в свежавысыпанной золе.

Не было никакой организации — государственной, религиозной, общественной или благотворительной, которая заботилась бы об этих несчастных.

Своих покойников они хоронили сами, чуть поодаль от зольных куч, разбивая друг другу головы при разделе лохмотьев.

Раз в год хозяева бань, согласно закону, убирали все зольные кучи. В дни таких расчисток рабочие натывались не на один десяток трупов.

* * *

Один из князей зольных куч был Али, красивый, высокий, хорошо сложенный и сильный малый.

Али исполнилось двадцать пять лет, когда отец мой поставил его сторожем в нашу усадьбу. Князя зольных куч частенько наведывались в нашу усадьбу, но со вступлением Али в новую должность набеги их прекратились. Али сам снабжал свою ораву фруктами и овощами, не злоупотребляя, однако, доверием отца.

Отец был доволен им. Усадьбу таким образом уберегли от разорения.

Али был человек верный, честный и смелый. В драке он брал верх даже над полицейскими.

Поступив к нам на службу, он сразу же сменил одежду, выкупался (третий раз в жизни), побрился, постригся, повязался широким длинным зеленым поясом, заткнул за пояс нож и взял в руки длинную и толстую, как посох, палку.

Но люди все равно не забывали о его прошлом и при каждом удобном случае бросали ему в лицо презрительное:

— Кюльхан бей...

Как-то пришел Али к моему отцу, смущенно стал перед ним и сказал:

— Хаджи-эфенди, думаю в другой город податься, здесь все знают, что я кюльхан бей.

И грубый этот человек, никогда в жизни не плакавший, вдруг зарыдал.

— Не обращай внимания, Али, — сказал отец, — через несколько лет все забудут, что ты был кюльхан бей, ты станешь человеком... — и вложил ему в руку несколько серебряных меджидов.

Али денег у себя не держал, все, что дарил ему отец, он отдавал на хранение старой моей тете. Никаких потребностей, кроме как поесть и одеться, у него не было: ел у нас, носил купленную отцом чуху, а тетя снабжала его табаком из трапезундских запасов отца.

Али заботился о бывших друзьях. Кого определит в слуги, благодаря знакомствам, приобретенным в нашем доме, кого в кучера, нескольких пристроил к лошадям. Старался помочь даже тем, кто удирает в горы разбойничать.

Поговаривали, что эти бандиты спускаются иногда с гор и навещают Али в нашем имении, но мы в это не верили.

Городские власти несколько раз тайно засылали к нашей усадьбе полицейских, чтобы изловить бандитов, дружков Али. Но куда там! Ведь достаточно было малейшего знака на воротах, чтобы они прошли мимо. Ну а раз уж спустились с гор — с пустыми руками не любили уходить: грабили первого встречного и удирали.

Мать все опасалась, что отец когда-нибудь нарвется на них.

— Пораньше возвращайся из усадьбы, смотри, ограбят тебя, часы и деньги оставляй дома.

— Да будет тебе, жена, — отвечал отец, — они этого не сделают.

Но они так и сделали: отец однажды вернулся домой ограбленным. Мать напомнила, что предостерегала его..

— Темно было, даже по голосу не узнали меня.

— Так тебе и поверила я.

— Узнали бы — не стали трогать.

В полночь отец послал за Али.

Тот влетел, запыхавшись. Отец рассказал ему, как было дело. Али помрачнел, вышел, не проронив ни слова.

Утром чуть свет неизвестно кто бросил в окно спальни отца часы, пальто и деньги.

К полудню Али зашел к отцу, потупив глаза.

— Хаджи-эфенди, они не признали вас, — сказал он.

— Голодные люди, — ответил отец, — не осуждаю.

Как-то Али явился к отцу, явно одолеваемый какими-то мучительными мыслями. Вид у него был такой, точно он хотел сообщить отцу что-то важное, но не решался.

— В чем дело, Али? — спросил отец.

— Хаджи-эфенди, хочу сказать что-то, да боюсь, засмеете еще.

— Говори, не стесняйся, смешно будет — посмеемся, чего мнешься?

— Хаджи-эфенди, решил босиком до Мекки дойти, стать хаджи и вернуться. Обетом связал себя.

— Хорошее дело задумал, Али. Только зачем босиком?

— Чтобы заветное мое желание непременно исполнилось..

— Ну что ж, доброго тебе пути, — заключил отец.

Али еще что-то хотел сказать. По-видимому, именно то, что его с самого начала смущало.

— Хаджи-эфенди, да буду я прахом у ног твоих... — взмолился Али.

Отец понял.

— Говори, Али, я тебе многим обязан.

— Хаджи-эфенди, дал бы ты мне два золотых, ведь в дороге все может случиться.

— Двух золотых не хватит, — сказал отец, — я тебе дам пятнадцать.

Али нагнулся и поцеловал край его халата.

В тот же день он объявил о своем намерении. По исламскому обычаю, единоверцы Али должны были проводить его в путь с подарками.

Утром, когда отец отсчитал и вложил в руку Али пятнадцать золотых, мать огорченно вздохнула, уязвленная в своих религиозных чувствах.

— Соберись армянин в Иерусалим, небось ничего не дал бы, — бросила она.

— Я свое дело знаю, — ответил отец, — пусть он только вернется, посмотришь, сколько заработаю!

Через несколько дней, когда Али пустился в путь, в лохмотьях, босой, с длинным сучковатым посохом, многие из его единоверцев вышли пожелать ему доброго пути. Однако подарков он не получил: его социальное происхождение помешало проявить религиозные чувства даже единоверцам.

Али еще раз приложился к краю отцовской одежды и, гордо выпрямившись, решительно заявил:

— Хаджи-эфенди, я еще покажу, чего я стою!

Отец поцеловал его в лоб и, тайком вложив в руку еще один золотой, попросил:

— Будешь идти через Иерусалим, остановись у АCOPEVA колодца, там Христос наш встретился с самаритянкой, и над тем колодцем за меня поставь свечку.

— Поставлю, и не одну, хаджи-эфенди, будь уверен.

И Али зашагал в Мекку.

* * *

Прошло два года. Али как в воду канул.

— Наверное, остался в каком-нибудь городе, на твои денежки открыл магазин, сколотил капитал и живет себе припеваючи, — говорили отцу.

Отец был непоколебим:

— Али вернется в конце концов, вот увидите.

Как-то из Мекки возвратились в наш город паломники. Отец пошел повидаться с ними.

— Я его встречал в Иерусалиме, — сказал один из них, — он еще не скоро будет, пешком ведь добирается.

Исламские паломники рассказывали о необыкновенном религиозном рвении, о мученичестве Али. Этой жертвой он должен был смыть свой «позор», всю «грязь» своего социального происхождения.

* * *

Через три года, в один прекрасный день, вдруг по всему городу расклеили яфты[34], извещающие о том, что возвращается из Мекки Али, босой, обессиленный и что долг каждого мусульманина встретить его и расспросить о рае, обещанном мусульманам.

Али, согласно молве, возвращался облагодетельствованный пророком. Великой этой милости удостоился он за то, что паломничество свое в Мекку совершил пешком, погружая босые ноги в раскаленный песок Аравийской пустыни.

Мусульманское население города, еще до возвращения Али, пожаловало ему титул — бей.

Каждый мусульманин готовился встретить Али-бея подарками.

Лето. В воздухе колышется полуденный зной, жестокое, безучастное ко всему живому солнце сжигает пшеничные поля. Толпа людей запрудила широкую пыльную дорогу.

Яркие восточные ковры, которыми устланы все дороги на протяжении двух-трех верст, посерели от пыли.

Вдали возникает точка. Постепенно увеличиваясь, превращается в человеческую фигуру. Это Али. На нем длиннополая зеленая аба, голова тоже в зеленой повязке, в руке — длинный сучковатый посох, грудь обнажена, обнажено и мужское достоинство его, на котором, милостью пророка, печать хаджи — та самая благодать, которой удостоился он за свое паломничество.

Народ обступил его. Слышно только прерывистое дыхание тысяч людей — каждый стремится как можно скорее приложиться к освященному пророком символу мужественности Али, прикоснуться к лохмотьям его и посоху, поднести или назвать ему свой дар: кто коня дарил босоному избраннику пророка, кто часть своих поместий, кто

целый магазин. Груды подношений — шелка, серебро, золото, мебель, ковры, скатерти, постели, кровати, одежда — наконец погружены на фэтоны, и Али, сопровождаемый народом, запыленный, усталый, направляется в город.

На крышах толпы зевак, к зарешеченным окнам прильнули любопытные женщины.

Али безмолвен. Ступает медленно: изнеможен. Пыль и пот проложили борозды на лбу его.

Добравшись до городской мечети, он опускается на колени, целует истоптанный мраморный порог, молится, повернувшись лицом к югу, заходит в мечеть.

Потом его провожают в отведенный для него дворец, и там он просит дать ему отдохнуть.

В полночь Али присылает за своим отцом слугу.

Не успевает отец войти к Али, как тот вскакивает, бросается навстречу и обнимает его.

— Хаджи-эфенди, ты помог мне, и я сдержал свое слово. Теперь все знают, чего я стою.

Расставаясь с отцом, Али хочет вернуть ему деньги. Отец отказывается их принимать.

— Я во спасение своей души дал тебе денег.

Али заверяет отца, что при случае он ценою жизни поможет ему в трудный час.

Отец благодарит его.

* * *

Спустя месяц Али-бей открыл бакалейный магазин, в котором не было ни мер, ни весов, потому что он ничего не мерил и не взвешивал.

Али-бей восседал в своем магазине, обложенный шелковыми, парчовыми и атласными подушками, в зеленой абе, с аршинным мундштуком во рту и с зеленой повязкой на голове.

Увидит за витриной богача, пригласит войти:

— Что послать тебе домой?

Богач попросит послать что-нибудь из имеющегося в магазине товара и оставит на шелковой подушке несколько золотых.

Али-бей жил в невиданной роскоши, широко и привольно, пользуясь всеми благами мира.

Одну за другой взял он в жены восемь двенадцатилетних девушек.

Он хотел протянуть руку помощи своим бывшим друзьям, сбежавшим в горы после столкновений с полицией и убийств, обещал деньги, дом, магазин и свое покровительство. Но разбойники не захотели возвращаться в город.

Поднялся как-то переполох в городе. Али дал пощечину полицейскому, слывшему бешеным: полицейский избивал какого-то кюльхан бея. Сперва Али решил было пройти мимо, но крики кюльхан бея заставили его повернуть обратно и дать полицейскому затрещину.

— За кюльхан бея заступается, — шушукались по углам, не осмеливаясь выступить против избранника пророка.

Трижды в день князя зольных куч собирались перед домом Али-бея. Али садился у окна так, чтобы его не видели, и наблюдал, как слуги его раздавали им хлеб. «Князя» толкались, цапались из-за лишнего куска, вытеснили слабых. Слабых Али потом звал в дом, и каждый получал свою долю хлеба.

Как-то раз Али сказал моему отцу:

— Так хочется иногда зарыться в золу.

От шелков, красавиц и золота порой его тянуло к прежней жизни. Вдруг возьмет и прикажет одному из слуг повязаться красным грязным передником, чтобы походить на уличного хайфечи, и подать ему кофе... А выпив кофе, скажет: «Я это в кредит, денег нет».

Али получал огромное удовольствие от посещения этой воображаемой кофейни.

— Из грязи не выходят в князи, — говаривал отец.

По возвращении Али из Мекки отец с его помощью уладил немало дел: вернул себе когда-то несправедливо отобранные земли, вызволил из тюрьмы своих друзей и родичей. Получил даже право на расширение армянского кладбища, А ведь это был вопрос, над которым билось целое поколение, по поводу которого делегация ездила в Константинополь к самому султану и вернулась ни с чем.

* * *

Был у нас сосед, голубей держал, звали его Акоп-голубятник.

Держать голубей считалось у нас самым унижительным занятием.

Старики говорили: «Голубь — тварь невинная, но в нем смерть».

Увидев на крыше голубя, мать в страхе крестилась:

— Голубь на крыше!..

В нашем городе, если кто хотел оскорбить человека, называл его голубятником.

В школе учитель закона божьего плевал в лицо ученику, не выучившему урока, и кричал:

— Урока не выучил, голубятник несчастный!

А на настоящего голубятника указывали пальцем, как на вора или преступника.

Не только за самих голубятников, но и за сыновей их родители не отдавали своих дочерей, а к дочерям — никто не сватался. Дознавались даже — не было ли в роду у парня или девушки «голубятников».

Если кто сообщал вдруг, что слышал, будто брат зятя деда девушки (или парня) голубей гонял, обручальное кольцо немедленно возвращалось.

Но мы, дети, любили голубей, а голубятники в наших глазах были настоящими героями.

Детям все эти предрассудки были непонятны.

В церкви миро капало из клюва золотой голубки.

Голубку славили как символ невинности во всех песнях.

Детство — это невинность.

И мы любили голубей.

Была у нас небольшая мраморная статуэтка: нагая, красивая девушка с голубкой на плече.

Отец привез ее из Стамбула. Стояла она в его комнате, на подставке из орехового дерева.

И как ни страшилась мать голубей, все хорошее она все-таки сравнивала именно с ними.

Когда у жены старшего брата родился ребенок, мать обнимала его, подбрасывала в воздух и приговаривала:

— Птенчик ты мой, голубочек.

Я радовался, когда мать все хорошее сравнивала с голубем, и очень огорчился, когда она крестилась, увидев голубку на крыше.

Мной владело одно желание — остаться без родителей, стать круглым сиротой, чтобы гонять голубей.

Я бредил этой мыслью.

Каждый день я поднимался на крышу — полюбоваться на голубей Акопа.

Поднимался украдкой, чтобы никто не заметил. Зазорным считалось любому из членов нашей семьи, даже мне — такому еще маленькому, — забираться на крышу, чтобы смотреть на голубей Акопа. Но я, движимый непреодолимым влечением, всегда оказывался на крыше и тайком наблюдал за ними.

Как они летели, как парили в чистом прозрачном небе!

Притаившись, я ждал, что хоть один из них опустится на нашу крышу, и я дотронусь до его крыла.

Мне и во сне снились голуби Акопа. Они садились мне на голову, плечи, руки, и я жадно вслушивался в их воркованье, я прыгал, плясал, по они улетами, я ласкал их, прижимал к груди, целовал, прятал за пазуху.

Я просыпался от мысли, что это сон — это тоже было во сне — и голуби кружили вокруг меня. Когда же я просыпался на самом деле, голубей не бывало. Слышалось только их воркованье. Или и это только чудилось мне?..

Я не мог понять, за что так презирают люди голубей, за что унижают и оскорбляют голубятников, и особенно Акопа.

* * *

Вечер. Солнце еще не закатилось за горы, легкий дождь освежил воздух.

Еще светло, тускло поблескивают окна.

Акоп поднялся на крышу, откинул дверку голубятни.

Веселым хороводом взмыли в небо птицы.

Много их, молочно-белых. Вот один уронил перышко, оно, кружась, упало на землю. Налетели ребятишки, подхватили его, вырывают друг у друга, — наконец кто половчее, украшает им шапку. Есть голуби с темно-синим отливом в белую крапинку, и еще — цвета дымного пламени, цвета последних лучей заката и багряно-красные, как осенний лист.

В воздухе молочно-белые теряются в светлых облаках, их трудно разглядеть, а когда тучи отливают свинцом, из поля зрения исчезают пепельные.

Вот парочка... Округлые грудки отливают зелеными тонами, по стоит им чуть повернуться, — зеленые исчезают, проступают фиолетовые.

Вот грациозно прохаживается по крыше стайка. Одни — коричневатого-кофейного цвета, другие — белые, как сахар. Распускают хвосты, о чем-то воркуют, вертят головками, легкие, быстрые, живые.

Почему же голубь — это смерть? Я так и не сумел понять эту загадку.

Голубятники вечно враждовали. Стоило одному из них завидеть кувыркающуюся в воздухе птицу, как он тут же выпускал лучшего своего голубя: сманить «чужого» к себе.

Сманивать друг у друга голубей — в этом была вся прелесть их увлекательного дела.

Голубь обворожительная птица, но и его легко обворожить.

Любовь — самый сильный инстинкт этой птицы.

Согревшись на плоской крыше, когда солнечные лучи ласкают землю, они воркуют, резвятся, стучаются клювами, загоняют их себе в перья, захмелев от безумной любви.

Вот голубятник заметил, как с одной из крыш смело взмыла в небо голубка, красиво она парит... Фиолетово-зеленая ее грудка, переливаясь, сверкает в лучах солнца. Голубятник тотчас выпускает бывалого самца, одержавшего немало побед на своем веку.

Самец летит, кувыркается в воздухе, кружится вокруг голубки, и так до тех пор, пока не заворочит, не завлечет, не заманит ее в свою голубятню.

Во время такого голубиного поединка голубятники с крыш подбадривают каждый своего голубя отчаянным свистом, криками.

Хозяин голубки, которую сманил чужой голубь, расстраивается до слез. Он чувствует себя втоптаным в грязь, оплеванным. Он предпочел бы сам опозориться на весь город, лишь бы голубя не увели.

Вражда переходила из поколения в поколение, страшная обида не забывалась.

Бывало, что хозяин побежденного голубя, не в силах вынести подобного унижения, решал отомстить обидчику.

В ход пускался нож.

Сбегалась толпа, голубятники и любители голубей делились на два лагеря.

— Подлю сманил мою голубку! — вопил пострадавший.

Какая подлость могла быть в любовной схватке двух невинных голубей, да еще в воздухе?

— Отдай мою голубку, не то!.. — угрожал ножом.

Хозяин голубя-победителя тоже доставал нож.

— Не получишь. А если ты мужчина — держись!

И начиналась поножовщина. Переполох, замешательство, плач детей, крики женщин — проливалась кровь.

Вот почему старики говорили, что голубь — тварь невинная, но в нем смерть.

Если в драке отступал хозяин побежденного голубя, — он месяцами не показывался на людях, запирался у себя дома, задерживал занавески на окнах.

— К жене под юбку забрался, — потешались его соперники.

А хозяин голубя-победителя уходил, задрав голову, надвинув феску на глаза кисточкой вперед: самая высокомерная и наглая манера носить феску. Уходил, никого не замечая, не глядя ни на кого.

И тем не менее голуби были моей страстью.

Что же общего между голубем и человеческой злобой? Голуби реют в небесах и не имеют никакого отношения к тому, что внизу люди пускают в ход ножи.

Наш сосед, голубятник Акоп, был цирюльником. Ремеслу своему уделял он два-три часа в день, все остальное время проводил на крыше, гоняя голубей.

Хотя Акоп и считался хорошим, аккуратным брадобреем, клиентов у него было мало.

Мы, дети, часто околачивались у его цирюльни. Только Акоп залепит лицо клиента мыльной пеной, один нос да глаза оставит, только возьмется править бритву, — мы тут же заводим разговор о голубях.

— А ведь голубка Петроса — Чил — двух птенцов вывела, — говорит один из нас и заговорщически улыбается.

Делаем вид, что разговариваем между собой, но Акоп не выдерживает, подходит к нам:

— Где слышал? Кто сказал?

— Минас сказал.

— Быть не может.

— Ну да, так и сказал: двух птенцов.

— Врет этот Минас.

Клиент возмущается. Пузырьки пены лопаются у него на усах, наверно, щекочут нос.

— Слушай, ты будешь брить или нет?

— Потерпи немного, дело тут важное, — отвечает Акоп и продолжает разговор:

— Ну, не тyani, говори, кто тебе это сказал?

— Своими глазами видел.

Акоп озабочен. Ведь Чил голубятника Петроса привезли из Диарбекира, а диарбекирские голуби — лучшие во всей Малой Азии. И теперь у Петроса будет три «kozyря».

— Чил — птица знаменитая. Но слишком уж много говорят о ней, — пытается утешить себя Акоп.

Клиент выходит из себя:

— Сколько мне еще ждать?

Глаза Акопа бегают, клиент начинает беспокойно ерзать: а вдруг Акоп возьмет да полоснет бритвой по горлу.

— Чего тебе? — спокойно спрашивает Акоп, но в этом спокойствии еле сдерживаемый гнев.

Клиент опасливо косится и уже не сердится, а просит:

— Хочу вот, чтобы ты побрил.

Акоп хватая полотенце, вытирает ему лицо, и:

— Все, пошел!..

Клиент вскакивает с кресла, надевает феску и давай бог ноги.

— Побрить его! Делать мне, что ли, нечего? — бросает ему вслед с досадой Акоп.

Уходили и мы оставляя Акопа наедине с его думами. А он, скрутив сигарку, жадно затягивался, закрывал цирюльню и шел домой, всю дорогу глядя в небо: чьи там парят голуби.

Дома он поднимался на крышу и выпускал своих голубей: на Чил свет клином не сошелся...

Над головой Акопа хлопали голубиные крылья. На каждый хлопок он отвечал восторженным возгласом:

— Ах, умереть бы мне за вас!

* * *

Однажды у дверей Акопова дома объявился хозяин голубки, которую заманил как-то один из голубей Акопа. Его сопровождали дружки, почти все пострадавшие от голубей Акопа, — голубятники.

Он остановился у порога и крикнул:

— Выходи!

Жена Акопа, услышав этот крик и в маленькое окошко увидев собравшихся на улице голубятников, заломила худые бесцветные руки, выбежала во двор.

Акоп шел ей навстречу медленно, тяжело дыша, губы у него дрожали.

Жена бросилась ему в ноги.

— Не ходи!

Но Акоп отшвырнул жену в сторону.

— Я мужчина.

Он вошел в дом, молча направился к шкафу, ключ от которого хранился только у него. Как только он вставил ключ в замок — жена рухнула на каменный пол, потеряв сознание.

Акоп отпер шкаф, достал старый дедовский клинок, рванул из ножен, поцеловал холодную сталь, снова вложил в ножны и вышел. Дочери не было дома, жена осталась лежать на каменном полу.

Появление Акопа в дверях и выхваченный из ножен клинок возымели действие, — противники отступили, к тому же подросли сторонники Акопа.

Через несколько минут Акоп вошел в дом, поднял все еще лежавшую в беспамятстве жену, побрызгал на нее водой, а когда она пришла в себя, сказал:

— Ни капли мужества в тебе, хоть ты и моя жена.

* * *

Но жена Акопа боялась не столько ножа — насмотрелась она кровавых драк, много раз перевязывала мужу раны, — сколько того, что дочь ее, красивую девушку, никто замуж не возьмет.

Многие голубятники после женитьбы переставали гонять голубей. Что же касалось Акопа, — не было никакой надежды, что он когда-нибудь бросит это занятие и полностью отдастся своему ремеслу.

— Да оставь ты этих голубей, ради бога, — молила, упрашивала жена, — дочь у тебя растет, не век же ей дома сидеть, пожалел бы.

Акопа прямо-таки трясло, сводило судорогой от этих разговоров. Перед его мысленным взором вставали молочно-белые голуби, а рядом — бледноликая дочь с черными волосами, и душа его разрывалась от боли. Он мрачнел, разъярялся, иногда поднимал руку на жену, кричал:

— Ты опять за свое, хватит! Извела!

Порой он звал дочь, смотрел ей в черные, как арбузные семечки, глаза, сажал на колени и дрогнувшим голосом шептал:

— Девочка моя, чинара моя!..

В такие минуты слезы душили его, он поднимался на крышу, выпускал голубей и, когда они взмывали в чистое, прозрачное небо, забывал весь мир и его злые законы.

Не надолго ли?

— Дочь у тебя, или убей ее, или брось голубей, — снова начинала жена.

Но как он мог жить без своих голубей?

* * *

Шли годы, старился Акоп, но в душе все оставался ребенком.

Бывало, днями не заглядывал в цирюльню. Брил машинально, не отрывая глаз от окна.

Только заметит в небе голубя, бросается к дверям с бритвой в руке, в белом халате, позабыв о клиенте.

Шли годы. Дочь Акопа подросла, похорошела: волосы до пят, щеки как спелый гранат. И люди теперь сторонились не жены Акопа, а дочери.

— О господи, зачем ты дал мне дочь! О горе! — убивалась мать.

За дочку сватались, да все голубятники. А Акоп с женой поклялись ни в коем случае не выдавать дочь за голубятника.

Жена твердила:

— Брось своих голубей, довольно! Весь город дочь твою честит...

А что мог поделаться Акоп? Мог ли он заткнуть рот всему городу?

И он ругал всех и вся последними словами.

Но что толку? Разве руганью сотрешь с чела дочери позорное клеймо?

Между тем бедная девушка вынуждена была оставить школу, потому что даже учителя звали ее «голубятниковой дочкой». Стоило ей запнуться на уроке, как учитель ехидничал:

— Говорят, отец твой голубей гоняет, да?

Какое отношение имели голуби к ее занятиям?

Акоп думал, думал и нашел выход: отпустил бороду. Если у голубятника была борода, жену его или мать не ругали, обычно ругали бороду.

Вот Акоп и отпустил бороду.

Жена сначала не поняла, зачем ему эта борода понадобилась.

Даже посмеивалась над ним:

— Вот еще поп на мою голову!

Она по-прежнему твердила, что он должен пожертвовать голубями ради дочери.

— Ты что думаешь с дочкой делать? Мариновать будешь — как-то набросилась она на мужа.

— Хватит тебе пилить. Вот, отпустил бороду, чего тебе еще?..

Но одной бороды было недостаточно, чтобы люди оставили в покое его дочь.

Часто она прибегала домой в слезах.

— Что случилось, голубка моя? — спрашивал Акоп.

— Оскорбили меня...

Акоп хватался за бороду, вздыхал.

Денег в дом поступало все меньше и меньше. Акоп открывал свою цирюльню раза два-три в неделю, и то для случайных клиентов.

Положение было безвыходное, и Акоп решился на жертву: он продал за пять золотых лучшую пару своих голубей. Это стоило ему полжизни. Единственным утешением были птенцы, оставшиеся от этой пары. Когда Акоп, получив золотые, достал из-за пазухи голубей и отдал их новому владельцу, на глаза его навернулись слезы. И лишь сознание, что на пять золотых можно прожить целый год и, следовательно, не открывать постылую цирюльню, его немного успокоило. Он утер слезы и направился домой.

Дома Акоп обнял дочь, приласкал:

— Голубка моя, белоснежная моя!..

Несколько раз уже Акоп решал распродать голубей, дом, имущество, уехать в другой город, даже в другую страну, чтобы люди не знали, что он был голубятником. Решал и сам ужасался этой мысли.

По ночам, во сне, ему чудилось, что какие-то страшные люди поднялись на его крышу, открыли дверку голубятни и уносят, уносят, уносят голубей.

— Не дам, не возьмете! — кричал он во сне и в ужасе просыпался, вскакивал как одержимый, босиком бежал на крышу, открывал дверку голубятни — успокаивался.

Наконец Акоп решил не продавать голубей, а зарезать их. Чтобы его голуби жили, летали, ворковали и... не принадлежали ему? Он не мог примириться с этой мыслью.

Судьба дочери мучила его.

Ах, как ему хотелось, чтобы ее не было на свете, были только он — да голуби; вот это была бы райская жизнь!

Как-то под вечер Акоп поднялся на крышу. Давно уже не выпускал он голубей.

Лицо его было страшное, страшнее, чем когда он хватал клинок и выходил на улицу драться.

Дочь бросилась к матери. Обняла ее, зарыдала.

— Что плачешь? Опять обругали?

Дочь еле выговорила:

— Отец...

Мать бросилась на крышу. А Акоп уже открыл дверку, и голуби вылетели.

Голуби кувыркались в воздухе. Потом спускались на крышу, садились на плечи хозяину — соскучились, что ли?

Акоп, стоя, долго глядел на уходящее за дальние горы солнце, потом снял феску, поймал подлетевшего к нему голубя, достал нож...

Отшвырнул голубиную головку. Кровь брызнула ему на грудь, на белую рубаху.

Акоп поймал второго голубя, но руки ослабели, нож выпал.

Взбежавшая в этот момент на крышу жена увидела окровавленный нож, всего в крови мужа, его застывшие в ужасе глаза, подумала, что Акоп наложил на себя руки...

Взбежала на крышу и дочь, заметалась между отцом и матерью.

Я слышал крик жены Акопа и взобрался на нашу крышу. Сбежались соседи.

Нам всем казалось, что Акоп бьет жену, и дочь пытается спасти мать.

— Вай, чтоб твоей дочери...

А голубятник, в слезах прижав единственную дочь к обагренной голубиной кровью груди, шептал:

— Голубка моя белоснежная... Всех красавцев моих принесу тебе в жертву...

И заплакал этот ребенок о поседевшей головой.

* * *

В последний раз направляюсь к кладбищу проститься с могилой отца.

Как вырос тутовник, посаженный у его могилы!

Отец... Он стоит передо мною во весь свой огромный рост. Печальный, печальный, как одинокое дерево в пустынной долине.

Смотрю на тутовник, его корни протягиваются к тебе, отец.

Каждая ягода тутовника налита сладостью сердца твоего.

Тутовник — это ты, разветвленный и зазеленевший. Ветер поет в его листве. Нет, ты не слышишь эту песню, а сам поешь ее своими ветвями. Тень тутовника обнимает меня, это руки твои, отец, обнимают меня.

Я вслушиваюсь в песню ветра с тоской в сердце, с тоской думаю о тебе. Это — песня твоей крови, та самая песня, которую поет солнце, поет каждая травинка, каждый серебряный луч луны.

Песня, нескончаемая песня, что льется с неба, звучит в листве и вновь возносится в небо.

Целую могилу, обнимаю ствол тутовника, как обнимал когда-то тебя.

Ветер поет, шелестят листья тутовника. Бесконечная песнь, бесконечная жизнь, бесконечная грусть и бесконечная радость...

В последний раз открывается город моему взору, как золотое дерево в объятиях синих гор.

Экипаж катит по старой римской дороге к морю, к Византии и Риму.

Утро. Копыта лошадей высекают искры. Ночь. Лошади жуют, а мы, утомленные, смотрим на звезды, и веки наши смежаются.

В одно прекрасное утро я увидел море. Где кончалось оно и где начиналось небо?

Море... Вспоминаю с гордостью, что отец говорил обо мне: «Глаза у сыночка моего, как море, синие...»

Еще две ночи, и я буду в Константинополе, в городе моей мечты.

Мне хотелось, чтобы Константинополь оказался таким, каким я его представлял. Я не хотел, чтобы он превосходил мои ожидания, ибо я стремился к своей мечте.

* * *

В той древней стране, где я рос, солнце горит, как раскаленный шар, ручьи журчат, не переводя дыхания, встают светозарные утра и опускаются огнекрылые закаты, в синем небе плывет серебряная чаша, полная свеженадоенного молока, деревья устремляются в небо, тихо шепчутся цветы.

Теперь я хотел бы отдохнуть, склонить свою усталую голову на синий мрамор тех небес и услышать песню, которой внемяют деревья, ручьи и звезды.

Овнатан — сын Иереми

Посвящается памяти

Микаэла Налбандяна

Перевод Ю. Маилова

1

С незапамятных времен город стоит на горе, над самым обрывом. И весь он из белого камня, как и сама гора.

Балконы домов свисают над крутой пропастью, и в вечерних сумерках порой кажется, что они парят в воздухе, подобно призракам.

На восточной окраине города древние его властители воздвигли могучую крепость. Не только яичный белок и молоко, но и кровь рабов скрепили ее стены.

Одна-единственная дорога, узкая и извилистая, какая не приснится даже в кошмарном сне, ведет к подножью Горы, к роскошным садам и виноградникам.

Виноградники эти существуют с библейских времен, их тяжелые грозди в темноте даже излучают свет.

За ними в бескрайной равнине цветет хлопчатник и, как море, волнуется золотистая пшеница.

По долине протекает одна из самых древних на земле рек. Летом она голубая и безмятежная, как небесная лазурь, а весной разливается и тогда бушует и ревет, словно исполинский зверь.

В садах зреют абрикосы. Сочные и ароматные, величиною с добрый кулак. А яблоки так душисты, что не сравнятся с ними даже аравийская мирра. Миндаль крупный, его здесь в изобилии, инжир сладок, как мед, ярко-красные розы с бархатными лепестками пылают, словно окровавленное сердце, вишня свисает с ветки, подобно огромной капле крови, а гвоздики так много, что осенью ее косят, как траву.

И над всей этой красотой горит ослепительное солнце.

Было это более ста лет назад. Жители города весь день обильно поливали своим потом окрестные поля и сады, но как только сгущались сумерки, спешили обратно в гору: с наступлением темноты в долине появлялись многочисленные свирепые разбойничьи шайки.

Они грабили, убивали мирных жителей и исчезали вместе с ночью, когда на сверкающем небосводе занималась утренняя заря.

В те времена у подножья горы не было ни единого дома. Только шалаши из ивовых прутьев укрывали людей в полуденные часы.

Урожай с полей собирали обильный, столь обильный, что его хватало и жителям, и разбойникам, и даже нищим, которые каждую зиму толпами стекались в город из окрестностей.

Время постепенно разрушило стены крепости, и некогда грозная твердыня превратилась в руины. Теперь здесь базар, и в огромных казематах хранятся не копья, луки и кольчуги, а переливающиеся всеми цветами радуги абрикосы, персики, гранаты и виноград.

С годами разбойников стало меньше, наконец они и вовсе исчезли.

Куда они ушли? Что с ними случилось? Это тайна, и ее никто никогда не узнает.

Поговаривали, однако, что жители города, которые выделялись своими жидкими бородками, смуглыми лицами и тонким гибким станом, явно люди пришлые, а может, и бывшие разбойники. Наводили на эту же мысль их постоянно взъерошенные волосы и налитые кровью черные глаза. И, наконец, разговаривали они на местном наречии не очень бойко, коверкая слова на какой-то свой, особый лад. Их заворожала, приковала к себе непостижимой силой земля. Они остались здесь и вкусили наивысшее счастье в жизни — собственным трудом добывать себе хлеб.

Разбойников не стало, но по вечерам жители города все еще по-прежнему поднимались на гору, хотя и с трудом расставались с долиной.

Так длилось недолго. Вскоре люди чаще стали задумываться над тем, что жизни их больше не грозит опасность, следовательно, и незачем каждый день подниматься в гору и оставлять без присмотра цветники и фруктовые сады.

И вот лет сто назад у подножья горы был выстроен первый дом из белого камня. За ним без промедления — второй, третий, четвертый, пятый... — и все из того же белого камня.

Не легко было строить эти дома. Чего стоила одна перевозка камня. Не хватало людей, не хватало рабочего скота. Да и нельзя было всем заниматься этим делом, — кто бы возделывал тогда поля, кто бы собирал урожай?

4

После проливных весенних дождей и половодья в расщелинах долины скапливалась вода.

А потом под палящими лучами солнца, того солнца, что наполняет сладостью фрукты и красит в алый цвет розу, вода быстро испарялась и на дне водоемов оставался осадок — глина благороднейшей расцветки. Обезвоженная, она трескалась и расслаивалась толстыми пластами.

И вот один из жителей долины — сын каменотеса Давида, молодой Андреас — задумал делать из этой глины кирпичи.

На эту мысль натолкнули его развалины кирпичных домов, остатки древних городов и сел, сохранившиеся в долине.

— Сын мой, — сказал ему как-то каменотес Давид. — Мне жаль тебя. Ты зря стараешься... Ничего у тебя не выйдет. Глина не выдержит страшного удара молнии. Тут нужен камень.

— Нет, отец, — возразил ему Андреас, — молния пройдет сквозь кирпичную кладку и исчезнет в толще земли. А ударив в камень, она раздробит его на мелкие куски. Камень менее надежен, чем глина.

Доводы Андреаса не убедили старика, но и старик не сумел заставить сына отказаться от его замысла. Андреас, взрослый усатый мужчина, был уже и сам отцом двух детей.

По руслам горных потоков Андреас вырыл глубокие ямы и укрепил их стены. Когда хлынули ливни, ямы быстро наполнились водой. Летом вода испарилась, и на дне водоемов осталась глина того же благороднейшего цвета.

Из четырех тонких, шириною в два пальца, дощечек Андреас сделал квадратную раму и заполнил ее сырой глиной. Так был изготовлен первый кирпич.

В то же лето из необожженных кирпичей были выстроены в долине десятки домов, а к следующей весне Андреас воздвиг свою первую, круглую, в два человеческих роста, гончарную печь для обжига. Теперь, после просушки, кирпичи обжигались в течение нескольких часов, потом охлаждались всю ночь, а наутро, подрумяненные и затвердевшие, их складывали на самом солнцепеке.

Возводить стены из кирпичей было гораздо легче и дешевле, чем из камня. И дома стали расти, как грибы.

Первое время Андреасу помогала жена, но спрос на кирпичи рос, и поспевать за ним было невозможно. Да и жене Андреаса становилось трудно — на руках четверо детей, а в скором времени ожидался пятый. Пришлось нанимать работников за поденную плату и харчи.

Большинство жителей города переселились к тому времени с горы в долину. Воздух здесь был мягкий, целительный. У подножья горы били студёные ключи, которые поили окрестные поля. Даже дети работали теперь в садах и огородах, под густыми кронами деревьев.

Сначала дома крыли тростником, на который насыпали землю, и в дождливое время вода часто просачивалась в жилища. Потом Андреас стал изготавливать гнутую черепицу, а так как жители не верили, что она выдержит ливневые потоки, он покрыл ею сначала свой собственный дом. Кровля выдержала испытание, и в следующем году черепица была распродана так же быстро, как и хлеб.

Возвышаясь над гущей садов, красные черепичные крыши казались букетами роз в обрамлении зелёных листьев.

Черепицу Андреас изготавливал простейшим способом. Он запрессовывал сырую глину между двумя формами, выпуклой и вогнутой. Потом сушил её и обжигал в гончарной печи.

Старый город опустел. Да и что было людям делать на крутой горе? Тем более зимой, которая в этих краях особенно сурова. Тяжелыми свинцовыми тучами нависало небо над городом, стужу сменяла пурга, и люди на долгие месяцы оказывались отрезанными от всего мира. Да и весной на горе было не сладко, когда гремел гром и молнии рассекали каменные стены домов, словно клинком.

5

Новый город рос, процветало и дело Андреаса.

Он открыл первую на весь край гончарную мастерскую. Это было узкое, длинное помещение с низким потолком и маленькими окошечками, напоминавшее трюм корабля.

Жители долины не были замкнутыми людьми. Они стали оживленно торговать с соседями, к ним потянулись люди из других городов и сёл.

В былые времена весь урожай полей подымали на гору и выставляли для продажи в старой крепости. Теперь же щедрые дары земли украшали просторную базарную площадь нового города. А крепость, словно гнездо умершего коршуна, опустела и обветшала, тогда как город у её подножья цвёл и богател.

По берегам древней реки, купаясь в лучах благодатного южного солнца, тянулись к городу караваны верблюдов. Они привозили в город весь цвет и сладость юга и, получив в

обмен богатства долины, отправлялись обратно. Веселый перезвон бубенцов умолкал лишь поздней осенью, с тем чтобы весной снова зазвучать.

Андреас видел, какие плоды дает начатое им дело, как разрастается и ширится город.

Вслед за кирпичом и черепицей он взялся за изготовление труб для водопровода, который подвел к городу от подножия горы. Стал он делать и посуду: кувшины, кринки, тазы, огромные чаны для хранения воды и вина.

Неграмотный, никогда и нигде не обучавшийся лепке, гончар придавал своим сосудам простую форму, которую подсказывало ему собственное воображение.

Для этой цели он установил в мастерской гончарные станки, и двое из четырех его сыновей — Иеремия и Григор — уже работали на них.

Андреас обучал сыновей тайнам гончарного ремесла.

— Иеремия, сын мой! — говорил он часто. — Глина, особенно эта глина, лучший материал на свете. Ей можно придать любую форму.

И, с благоговением внимая словам своего отца и учителя, Иеремия, Григор, а позже и их младшие братья, старательно трудились в гончарной.

Здесь всегда было прохладно. Гончарные круги вращались, а на них, подобно нашей матери-земле, вращалась сырая, душистая глина, постепенно приобретая нужные очертания. Взглянув на грубую, бесформенную массу, никто не мог догадаться, какой вид примет она в результате обработки. Но вот ноги гончара приводили круг в движение, и масса превращалась в шар. Потом шар раздувался, как чрево беременной женщины, от него отходила длинная, словно у лебедя, шея, а когда конец шеи обрезают острой палочкой, с гончарного круга сходил сосуд с длинным, узким горлышком.

Вино из таких сосудов лилось особенно весело, журча, как весенний ручеек. Изготавливал Андреас и красные глиняные чаши, из которых жители долины с особым удовольствием пили вино, пахту и воду. Делал он и легкие красные кувшины для воды. Их вешали в тени деревьев, и вода в них сохранялась такой холодной, что, когда прикладывались губами к их горлышкам, зубы во рту начинали ныть.

Ночью кувшины с водой выставляли за окно, чтобы их остудил северный ветер, и тот, кто накануне изрядно выпил вина, всегда мог промочить пересохшее горло, стоило лишь распахнуть окно и припасть к кувшину.

Новый город обрастал десятками новых сел. Дома в них были тоже из красного кирпича и также покрыты черепицей. Тонкие стебли тыквы ползли вверх по стенам, а желтые плоды четко выделялись на красном фоне.

Осенью полевые работы заканчивались. В чанах бродило молодое вино, а с деревьев падали увядшие листья. Кружась на ветру, они мягко опускались на землю, освещенную лучами угасающего солнца, и окрашивали ее в желтый и красный цвета. Птицы улетали на юг, оставляя долину на попечение маленького героя зимней стужи — воробья.

Зимой женщины очищали хлопок, жевали свою жвачку или, собравшись вместе, болтали и хихикали, рассказывая друг другу потихоньку разные любовные истории. А мужчины тянули густое, темное, как чернила, вино, бездельничали.

В гончарной мастерской в эту пору царили безмолвие и стужа, а глина становилась серебристой от изморози. Всю зиму сюда никто не заглядывал. Одинокó мерзли станки, печально и хмуро смотрели с полок глиняные кувшины, в которых еще не играло вино.

Старый Андреас сидел дома, окруженный сыновьями, дочерьми, невестками и внуками, читал им вслух Библию в красном переплете или рассказывал о старой крепости и о Давиде — каменотесе на горе.

6

Андреас, первый гончар долины, дожил до глубокой старости. Он увидел своих правнуков и даже одного праправнука.

Все члены его семьи сызмальства умели обращаться с глиной, придавать ей различные формы. Позже они и сами не могли припомнить, когда и как постигли гончарное искусство, подобно тому как не помнили, кто и когда научил их говорить.

И все же душу старого гончара омрачала печаль. Старший из его сыновей, Иеремия, не имел детей. Ему перевалило уже за пятьдесят, когда он потерял жену, остался один и тяжело переживал свое одиночество.

Однажды Андреас подозвал его к себе и сказал:

— Все мы смертны, сын мой. Рано или поздно все превратится в прах. Но великий грех умирать, не оставив после себя потомства. Женись, пока еще не поздно, да расцветет твое древо и принесет плоды...

И загорелись глаза Иеремии, и в жилах его, как в молодые годы, заиграла кровь.

И вот в дом Андреаса вошла новая невестка. Самая младшая по возрасту, она стала старшей среди жен сыновей гончара, как жена старшего из них. И расцвело древо Иеремии и принесло богатые плоды. И возрадовался старый Андреас. Рассеялась его печаль, и он стал спокойно готовиться к смерти.

Старик любил Овнатана, первенца Иеремии, находил в нем сходство с собой. Чувствуя в мальчишке родственную душу, любил его так, как любил глину и мать-землю, любил больше всех своих прочих внуков и правнуков.

— Иеремия, сын мой! — говорил он, — Присматривай за Ованатаном, когда я умру. Береги его! — И он, лаская, притягивал к себе курчавую голову мальчика и целовал его голубые глаза.

Остальные невестки завидовали матери Овнатана. Старик часто подзывал ее, сажал рядом и гладил густые и длинные до колен волосы женщины. С восхищением, к которому примешивалась тоска уходящего из жизни человека, любовался он ее лицом, все еще румяным, хотя она была уже матерью трех детей.

7

Однажды старый Андреас позвал к себе Овнатана и сказал:

— Возьми перо и бумагу...

Шестнадцатилетний юноша поспешил исполнить желание деда.

Несколько мгновений Андреас лежал молча. Старику почудилось, будто затрепетали струны его сердца и он слушает самую пленительную из всех слышанных им песен — песню своей души.

Но звуки умолкли, и старый гончар, глубоко вздохнув, повернулся к ожидавшему его распоряжений Овнатану.

— Пиши... Айрапет родил Аракела, — торжественно молвил он, — Аракел родил Давида, Давид родил Андреаса, Андреас родил Иеремию, Григора, Петроса, Погоса, Сару, Югабер, Рипсима. Иеремия родил Овнатана, Маргариту, Давида...

Овнатан быстро записал слова деда и вопросительно взглянул на него. Тот продолжал слабеющим голосом:

— Овнатан родил...

Глаза старика с тоской остановились на внуке.

— Овнатан сотворил Андреаса!

Казалось, будто само бессмертие коснулось в эту минуту своим крылом старого гончара, и он вдруг увидел перед собой цветущие поля хлопчатника, услышал журчание весенних ручейков, почувствовал свежий запах глины... И на какое-то мгновение к нему вернулась молодость.

8

Но смерть пришла. Пришла, потому что утомленное тело тоскует по матери-земле и жаждет превратиться во прах.

И старый гончар, уже не встававший более с постели, которой предстояло стать его смертным ложем, пожелал увидеть тех, кто произошел от него.

Пришли все. Были среди собравшихся почтенные старики и старухи, — покорные воле Андреаса, они явились к нему в праздничных одеяниях, с украшенным золотом челом, одетые в атлас и шелк. На последнее свидание с главой рода принесли и тех, кто родился всего несколько дней назад, пришли беременные женщины, чтобы тех, кто еще не успел увидеть солнце и освещаемый им мир, кому не суждено будет увидеть лицо старца, присутствовали, находясь во чреве матери, а может быть, и слышали его последние слова.

Андреас знаком приказал своему старшему сыну Иеремии, чтобы тот поднял его и посадил. Отцу помогал курчавый, голубоглазый Овнатан. Он подложил подушку под спину и локти деда и еще одну маленькую, из голубиноного пуха, под голову.

Серые, но все еще густые брови Андреаса сходились над его угасающими глазами, как облака над багряным заходящим солнцем. Его руки со вздувшимися, разветвленными венами покоились на белоснежных подушках. Рукам этим было почти сто лет. Некогда они создали первый кирпич, из которого выстроили потом большой город. А из красных чаш Андреаса тысячи людей пили теперь в дни радости и веселья виноградное вино.

Овнатан, стоявший у изголовья кровати, почувствовал, что дед взглядом зовет его к себе.

Юноша подошел, опустив голову.

Старец вскинул брови и с грустью посмотрел в глаза Овнатана, как покидающий горы странник смотрит в голубое горное озеро. Потом он сказал:

— Не обижайтесь, дети мои. Я всех вас люблю, но Овнатана люблю больше всех. Этот юноша — мой образ, мое подобие. Глядя на него, я вспоминаю себя таким, каким я был в те времена, когда обжигал первые кирпичи.

Все слушали старца с благоговением. Овнатан сел на кровать деда. Настала глубокая, торжественная тишина. Старик молча смотрел на внука и вспоминал свое детство. Затем он снова заговорил, и казалось, само безмолвие рождает его слова.

— Дети мои, я уйду из этого мира, уйду усталым. До глубокой старости я не покидал гончарного станка, мое тело пропахло глиной. Я возник из глины и снова превращусь в нее. Похороните меня на дне верхнего водоема. Я хочу, чтобы кости мои стали землей, чтобы тело смешалось с глиной, которую приносят туда потоки воды. Я хочу, чтобы из этой глины вы сделали чашу и пили из нее вино, ибо тогда губы ваши коснутся меня...

Послышались всхлипывания невесток.

Андреас хотел было рассердиться, попытался строго взглянуть на них из-под седых бровей, но близость смерти лишила его взгляд былой суровости. Старик понял это — и стих. Так уж повелось в мире. Ему надлежит умереть, а оставшимся в живых плакать.

Пусть ясные глаза его детей порой покрывает пелена печали. От этого они станут лишь серьезней и мудрей.

— Я долго жил, — сказал он, — долго пил соки земли, и уйду теперь в землю. Но останется на небе луна, останется солнце, по-прежнему будет наливаться янтарный виноград. Когда засыхает старая лоза, снизу поднимаются новые ростки. Я сохну, но глина моя дала побег. Овнатан этот побег, моя цветущая ветвь...

Овнатан еще ниже опустил голову, и старик уже не видел озерную голубизну его глаз. В душе Андреаса постепенно воцарялась непостижимая безмятежность — безмятежность угасающего пламени.

Передохнув, он заговорил снова:

— Не бросайте глину. Из нее построен этот новый город, из нее созданы и мы все. Глина неиссякаема, она вечна. Все поначалу было глиной, все когда-нибудь превратится в глину. Ключи от моего дома я передам вам, с собой я не беру ничего. Не знаю, светел или темен будет мой путь, но я уйду без огня. Иеремия, сын мой, укрепи насыпь верхнего водоема, чтобы потоки воды не унесли мое тело. Это не так важно, но все же пусть оно покоится спокойно там. А где моя старшая невестка? Вчера я бранил ее. Нехорошо она поступила, что отрезала свои косы.

Угасающий взор Андреаса искал среди невесток мать Овнатана. Она подошла, взяла дрожащую руку свекра и прижалась к ней губами. Две горячие слезы упали на его огрубелую от работы, пропахшую землей ладонь.

Старик поднял руку.

— Как бы сохранить их, чтобы они не высохли, — произнес он. — Я возьму их с собой. Нет у меня лампы, так пусть они светят мне в пути. А он, видать, будет очень темен...

Громкие рыдания заглушили последние его слова.

Андреас остановил их. Рыдания стихли.

— Иеремия, — распорядился он, — пусть младшие невестки принесут вино. Выпейте его... Я хочу видеть, как вы пьете, прежде чем уйду от вас...

Младшие невестки побежали за вином, и скоро чаши были наполнены. Все выпили. Смочив пальцы в вине, матери увлажнили ими губы младенцев.

Вдруг лицо старика озарилось улыбкой, она была обращена в какой-то иной мир.

— ...Я уйду... уйду без печали... без...

И Андреас умолк навсегда.

Все встали и опустили головы. Потом Иеремия перекрестился, и все последовали его примеру.

В комнате воцарилась тишина.

9

Иеремия долго убеждал братьев, что надо выполнить последнюю волю покойного, но наконец уступил: было решено похоронить Андреаса не на дне верхнего водоема, а на его берегу.

После полудня тело старика уложили в деревянный гроб, отнесли в гончарную мастерскую и поставили на станок, за которым он проработал более полувека. Когда по обе стороны станка зажгли длинные восковые свечи, Иеремия заметил Овнатана. Юноша сидел в дальнем углу мастерской и что-то лепил из глины. Отец подошел к нему.

— Ты что здесь делаешь, сынок?

— Это я для дедушки, — отвечал Овнатан.

Ничего не поняв, Иеремия молча обнял голову сына и поцеловал его.

На следующий день родные помогли Овнатану донести до печи огромный глиняный сундук. Никто из жителей долины и представления не имел о саркофагах, но все согласилось, что будет лучше, если положить гроб в этот сундук. Стены сундука Овнатан украсил изображениями цветов и фруктов, растущих в долине.

Утром саркофаг достали из печи и положили в него гроб.

Старшая невестка, мать Овнатана, принесла кувшин с вином, корзину абрикосов и букет роз. Все это она опустила в саркофаг. Вино поставила у изголовья, абрикосы положила в ногах, а розы — на грудь старика.

Потом саркофаг с гробом опустили в глубокую могилу, вырытую над верхним водоемом.

Священник и дьячки запели «Со святыми упокой». Им подпевали родные и друзья покойного.

Через несколько дней Иеремия и его братья запрягли арбу, взяли кирки и поднялись на гору. Там они откололи от скалы огромную каменную глыбу с белыми и зелеными прожилками, привезли ее в город и отдали каменотесу, чтобы тот сделал из нее могильную плиту.

Все то время, пока мастер трудился над камнем, Овнатан сидел в дальнем углу гончарной и что-то лепил из глины.

Никто не замечал его. Все внимание многочисленной родни Андреаса было приковано к, каменотесу, с него не сводили глаз, следили за каждым ударом его молотка, А Овнатан все копался в углу.

Однажды к нему подошел Иеремия.

— Что ты тут делаешь? — спросил он.

— Посмотри сам. Как ты думаешь, на что это похоже?

Иеремия долго и внимательно разглядывал большой ком глины, который лежал перед Овнатаном, но так и не понял, что он собой изображал.

— Ни на что не похоже, сынок, — заключил он наконец.

Вскоре надгробная плита была готова. В одном ее углу, в том месте, где не было зеленых прожилок, каменотес решил начертать слова эпитафии. Другой угол он украсил орнаментом с изображениями кувшинчика с чаркой и виноградной грозди с листьями. Плите он придал вид выложенной из кирпича стены.

Иеремия и его братья долго думали о том, какую надпись надлежит сделать на плите. Проспорив всю ночь, они разошлись только с рассветом, так и не придя к согласию. Наконец братья решили позвать старейшего из учителей города и спросить у него совета.

Учитель пришел, выпил вина, съел вяленого мяса с приправой из острого красного перца, рассказал, где и когда встретил он впервые блаженной памяти достойного Андреаса, о чем с ним говорили, и даже с точностью указал место, в котором находится сейчас душа старого гончара.

Когда учитель заговорил о душе Андреаса, все встали и перекрестились.

— Какую надпись сделать нам на могильной плите? — наконец решился спросить учителя Иеремия.

Учитель поднес палец к виску, помолчал с минуту — так он делал каждый раз, когда о чем-нибудь думал, — и сказал:

Здесь покоится

первый гончар страны Андреас,

раб Иисуса Христа,

сын Давида и Мариам.

Присутствующие снова встали и перекрестились.

В этот миг со скрипом распахнулась тяжелая входная дверь. Это свежий ветер пронесся по долине между деревьями и виноградными лозами и зашелестел в высокой, почти в рост человека, траве.

Каменотес целый день высекал надпись.

В следующее воскресенье, отслужив в церкви обедню за упокой души Андреаса, родные отнесли плиту на могилу старика.

— А где Овнатан? — спросил Иеремия у жены, не найдя его среди присутствующих.

— В гончарной...

— Что он там делает?

Она пожала плечами.

Вернувшись домой, Иеремия заглянул в мастерскую. Овнатан сидел там, облокотившись на станок, устало склонив голову: последние дни он почти не спал. Иеремия подошел к сыну, чтобы упрекнуть юношу за то, что он, любимый внук Андреаса, не присутствовал при установлении надгробья на его могиле. Но тут он увидел на станке глиняное изваяние и застыл от удивления.

Глина, обретшая форму, поражала явным сходством со старым гончаром.

— Овнатан! — воскликнул Иеремия.

Овнатан поднял голову и устало улыбнулся.

— Я хочу, отец, чтобы дед продолжал жить в изваянии, — слегка охрипшим от волнения голосом сказал он.

— Пусть солнце, что долгие годы светило твоему деду, озарит своим сиянием и твою жизнь, сынок! — с трудом сдерживая волнение, прошептал старший сын Андреаса.

Иеремия долго разглядывал закрытые, как в день смерти, глаза своего отца, его густые брови, длинные волосы, открытый широкий лоб, огромную, во всю грудь, бороду и руки со вздувшимися венами.

— И это сделал ты, Овнатан?

— Да.

Так впервые узнал Иеремия, что можно создать из глины. Раньше ему и в голову не приходило, что она годится на что-нибудь иное, кроме поделки кувшинов, тазов, чаш и кирпичей. Единственное изваяние, которое он видел в жизни, было «Распятие Христа».

— А что теперь делать с этим?..

Иеремия запнулся, он не знал, как назвать то, что стояло перед ним. Ведь это была не миска, не чашка и не кувшин.

— С изваянием? — спросил Овнатан.

— Да, — прошептал Иеремия.

— Будем обжигать.

Отец и сын взяли бюст Овнатана, поставили его в печь. И когда из трубы гончарной повалил дым, жители города с удивлением переглянулись: до сих пор не было еще случая, чтобы кто-либо работал в воскресенье.

Домой Иеремия и Овнатан вернулись только к рассвету. Проснувшись в полдень, они поспешили к печи. Она все еще была горячая, фигура же затвердела, стала красной, как вареная свекла.

— Пусть она останется тут до вечера, — посоветовал Иеремия. — Ветер охладит печь, вместе с ней остынет и глина.

— Пусть останется, — согласился Овнатан.

Но когда вечером изваяние было наконец извлечено, юноша огорчился. Оттого, что его обжигали в сыром виде, оно местами потрескалось. Но Иеремия ничего не заметил. Он пришел в восторг, разглядывая широкий лоб, густые брови и огромную бороду отца.

В следующее воскресенье вся огромная семья Андреаса, его внуки и правнуки, зятья и невестки собрались вновь. Взяв изваяние, они перенесли его через овраг на могилу старика и водрузили на плиту.

И еще долго потом приходили сюда удивленные жители долины, восхищались изваянием и читали эпитафию:

...АНДРЕАС...

СЫН ДАВИДА И МАРИАМ

10

Где и как Овнатан научился ваять, никто не знал. Между тем он уже давно втайне от всех часами предавался этому занятию.

Подолгу просиживал он в церкви перед «Распятием Христа», перед изваянием ангелов с крыльями, перед статуями женщин с маленькими, молочного цвета, грудями, свежими, как бутоны розы.

В руинах старой крепости, в одном из темных ее казематов, Овнатан обнаружил несколько разбитых статуй. Тут были головы и руки без туловищ и туловища без голов и

рук... Кое-где на высоких крепостных стенах тоже стояли фигуры, изображавшие людей, но и у них были отбиты или руки или головы. И все же каждый раз, когда юноша рассматривал их, его охватывало какое-то волнение, сердце начинало трепетно биться.

В гончарной мастерской юноша давно уже лепил маленькие человеческие руки, ноги и головы, но всегда украдкой. Ни отцу, ни его братьям, ни даже деду, он не осмеливался показать свою работу.

Он изваял «Распятого Христа», лепил фрукты, овощи, листья, вылепил крошечную арбу с двумя волами, точь-в-точь такую же, какая была у них в саду.

Смерть деда глубоко потрясла Овнатана, и в нем родилось желание запечатлеть его облик в глине. Попытка увенчалась успехом, это окрылило юношу, и он с еще большей энергией отдался любимому занятию.

Овнатану никогда не приходилось видеть, как лепят другие. Он был уверен, что статуи делают только из камня и бронзы, что еще никто в мире не лепил фигуры из глины, и наивно полагал, что додумался до этого только он.

Всецело отдавшись работе, Овнатан пытливо вглядывается в окружающий его мир.

Иеремия внимательно следил за работой сына. Успехи Овнатана приводили его в восторг. Но душу все же терзали сомнения. «Овнатану исполнилось восемнадцать лет, — думал он. — Я и мои братья стареем, и нам уже трудно работать, как прежде. Пожалуй, было бы куда лучше, если бы он встал за станок и делал кувшины, тазы и чаши». Но он не высказывал вслух своих мыслей, позволял Овнатану делать то, к чему стремилась его душа. «Пусть себе лепит, пока мои кости еще достаточно крепки и я могу трудиться», — говорил он.

Зато дяди Овнатана, сыновья которых работали целыми днями, то нагружая арбу глиной из водоемов, то меся эту глину голыми ногами, то разжигая печь, то таская на своих спинах кирпичи, сердито ворчали. «Парень только попусту тратит время, — говорили они, — он ничего не зарабатывает. А мастерская принадлежит всем, и доходы мы делим поровну».

— У тебя непутевый сын, Иеремия, — упрекали они отца Овнатана. — Пустой забавой себя не прокормишь. Зачем не работает, как все?

Возразить было нечего Иеремии. Ибо когда Овнатану надоедало выслушивать жалобы и упреки родных, а может быть, и из жалости к отцу, он становился за дедовский станок и делал сосуды невиданной красоты. Их нельзя было сравнить с теми, что изготавливали другие гончары. Все, что выходило из его рук, имело свои особые, неповторимые черты. Но Овнатана хватало ненадолго. Он быстро терял интерес к тому, что делал, бросал станок и, забившись в дальний угол мастерской, лепил или гневно сжатый кулак, или сгорбленную, усталую спину, или голову.

Головы, которые он лепил, были похожи на его собственную, других моделей у Овнатана не было. Он вглядывался в осколок разбитого зеркала и переносил на глину то, что там видел.

Чем большим спросом пользовались на рынке сосуды Овнатана, тем сильнее упрекали Иеремию его братья. Они требовали, чтобы юноша работал за станком не от случая к случаю, а от зари до зари.

Жаловались и другие родственники: «Разве Овнатан не нашего поля ягода? Не считает ли он нас за ослов? Почему он не работает?»

Возмущению их не бывало предела, когда наступал строительный сезон.

— От нас требуют кирпичи, Иеремия, — говорил кто-нибудь из них. — А твой сын не работает. Лучше нам отделиться. Ты получишь свое, мы — свое. А братьями мы останемся по-прежнему.

Тогда Иеремия подзывал к себе сына и говорил:

— Овнатан, сынок, нужен кирпич.

И Овнатан, расстроенный, весь во власти своих тяжелых дум, брал в руки допотопную деревянную раму, разувался и начинал делать кирпич.

А вечерами, когда, напившись пахтанья, все укладывались спать, юноша поднимался на крышу, ложился в постель, смотрел на звезды, падающие с бархатного синего неба, и глаза его наполнялись слезами.

Неслышными шагами подходила мать, видела слезы на глазах сына, гладила его по голове и спрашивала:

— Почему ты плачешь, мой милый?

— Я не буду больше делать кирпич, — капризно, словно ребенок, отвечал Овнатан.

— Нельзя, сынок. Отец твой уже стар. Ты должен помогать ему...

Овнатан с грустью смотрел на свою еще молодую мать и молчал. А той казалось, что слезы на глазах сына — это звезды, горящие на прозрачном синем небе. И, как звезды, они постепенно меркли и гасли, когда усталое тело юноши погружалось в сон. Поцеловав загоревший, обветренный лоб Овнатана, мать тихо уходила.

На бирюзовом фоне предутреннего неба еще яркой жемчужиной сверкала денница, а Овнатан, вскочив с постели, уже бежал в гончарную и принимался за работу. Свежий запах глины и волновал и радовал его.

Вслед за ним в мастерской появлялся отец. Он подходил к сыну и внимательно наблюдал за каждым движением. Вот глиняная масса принимала форму руки. Она вдвое, втрое больше натуральной. И, глядя на ее вздувшиеся вены, Иеремия читает летопись жизни человека, который более полстолетия трудился в поте лица своего, видит его сгорбленную спину и опаленный солнцем лоб.

Но тут в мастерскую приходят его братья со своими сыновьями. Их лица хмуры, и они косо поглядывают на Овнатана.

Тогда юноша бросает лепку, заворачивает свою работу в тряпье и подходит к старому дедовскому станку, который достался ему по наследству. Он быстро вращает гончарный круг, и глина под его пальцами приобретает все новые и новые формы — одна красивей другой.

Больше всего Овнатана восхищала гармония человеческого тела. Часто ночью он приходил в мастерскую, когда в ней никого не было, раздевался и при мерцающем свете свечи всматривался в свое отражение в зеркале. Все тело было в движении, ни единой застывшей точки... Тогда он подносил свечу к вылепленной им руке. Какая разница! Изваяние было лишь слабым подобием живого тела.

И молодой гончар пытливо искал пути к совершенству.

Долго мучился Овнатан, долго бродил во мраке, пока наконец не мелькнул перед ним путеводный огонек.

Как-то безоблачным вечером, в тот самый час, когда дети, лежа на крыше дома в своих прохладных белоснежных постелях разглядывают небо и шепчут желание, Овнатан подошел к своему младшему брату, погладил его по голове, такой же курчавой, как и его.

— Что ты любишь больше всего, Давид?

— Кататься на лошади...

— Хорошо, завтра я тебя прокачу на коне.

Забыв о звездах, Давид, не помня себя от радости, вскочил с постели и обнял крепкие мускулистые плечи брата.

— Но за это утром ты должен встать очень рано и сделать то, что я тебе скажу. А в полдень мы покатаемся на лошади...

— Встану, — обещал Давид.

Ночью, когда над кровлями и верхушками деревьев, будто осколки солнца, сверкали звезды, мальчик долго мечтал о лошади и, заснув, услышал во сне ее веселое ржание.

Едва забрезжил рассвет, Овнатан разбудил брата. Было прохладно. Нежный утренний ветерок слабо шелестел в листьях. Собачий лай давно умолк, и слышно было только, как тихо дышит природа.

Овнатан отворил тяжелую дверь гончарной, и братья вошли в мастерскую.

— Разве лошадь здесь? — спросил Давид.

— Нет. — Овнатан улыбнулся.

— А где же она?

Овнатан, не отвечая, принес глину, положил в таз, который стоял в углу мастерской.

— Давид, — сказал он мальчику. — Я хочу тебя лепить. Скинь одежду и встань сюда.

Давид повиновался.

Овнатан приступил к работе. Это была первая его живая натура. Работал быстро, увлеченно.

Стоять неподвижно нагишом в сырой мастерской было холодно, зуб на зуб не попадал у Давида, но Овнатан ничего не замечал, а мальчишка не жаловался. Он был тоже захвачен работой брата.

Кто-то постучал в дверь мастерской.

— Одевайся! — приказал Овнатан Давиду и поспешно прикрыл мокрой тряпкой скульптуру.

В гончарную вошли отец Овнатана и его дяди. Увидев здесь в такую рань своего младшего сына, Иеремиа несказанно удивился.

— Ты что тут делаешь? — спросил он.

— Я буду сегодня кататься на лошади! — осипшим голосом отвечал Давид. Его подбородок дрожал от холода.

Овнатан сдержал свое обещание. В полдень он оседлал лошадь, посадил впереди себя на седло младшего брата и, ударив лошадь каблуками, пустил ее вскачь по распаханному осеннему полю, красному и душистому.

И Давид перенесся в чудесный мир сказок. Его рубашка раздувалась от ветра. Раскинув руки и устремив вдаль горящие от возбуждения глаза, он представлял себе, что мчится на волшебном крылатом коне, что они вот-вот достигнут облаков...

С этого дня оба брата чуть свет приходили в гончарную и приступали к работе. Глина постепенно приобретала форму — вырисовывалась стройная легкая мальчишеская фигура.

И вот настал день, когда Иеремия увидел скульптуру младшего из своих сыновей, сделанную руками старшего. Он долго смотрел на Овнатана, и глаза его, иссушенные солнцем, ветром и пламенем печи, впервые за много лет наполнились благодатными слезами. Измученному тяжким трудом гончару казалось, что вернулись дни его молодости, он тяжело вздохнул, ноздри невольно расширились, вдыхая знакомый запах глины.

Овнатан встревожился.

— Почему ты плачешь, отец? — спросил он.

Сын Андреаса лишь молча покачал головой.

— Ты не веришь в меня, отец?

— Верю, сынок. Потому и плачу.

И Овнатан, не говоря ни слова, бросился на шею Иеремии.

11

На смену затянувшейся весне пришло жаркое лето. Раскаленный воздух обжигал долину. Собаки даже в тени не находили спасения и, высунув языки, прерывисто, часто дышали. Листья и трава потемнели. Казалось, само солнце приблизилось к земле.

Как-то, в начале лета, в тот час, когда солнечные лучи жгли особенно нещадно, Овнатан увидел свою сестру Маргариту, купающуюся в водоеме, на берегу которого был похоронен их дед.

Маргарита была несколькими годами младше Овнатана. Недавно ей исполнилось шестнадцать.

В детстве брат и сестра часто купались вместе, но с годами инстинктивно стали избегать этого.

Вода в водоеме была чистой и прозрачной, как слеза, и в ней отчетливо виднелось тело девушки. Так просвечивает порой луна сквозь легкую дымку почти прозрачных облаков.

Заметив Овнатана на берегу, Маргарита смутилась и нырнула в воду. Однако вскоре голова ее показалась вновь. Сжавшись в комок, девушка энергично работала руками, чтобы держаться на поверхности. А Овнатан все стоял и, не отрываясь, смотрел на нее.

— Уйди, Овнатан! — крикнула сестра.

Юноша отошел. Он забрался в кустарник и присел в тени его, чтобы не смущать сестру. Нежный ветерок тихо покачивал траву, и она, словно ласкаясь, гладила его лицо и волосы.

Да, Маргарита уже не девочка, раздумывал Овнатан, с которой он, бывало, приходил сюда купаться. Как она изменилась. От ее детских угловатых форм не осталось и следа. Словно какая-то чужая, совсем незнакомая ему девушка случайно забрела в их водоем. Тело налилось и стало женственным, упругие груди, дрожавшие от холода поражали нежностью линий.

Решение пришло внезапно. Он будет лепить сестру.

Но согласится ли Маргарита? Впрочем, она никогда еще и ни в чем не отказывала брату. Творческое волнение охватило все его существо...

Его думы прервал чистый и звонкий девичий голос:

— Овнатан!.. Овнатан!..

Юноша выглянул из-за кустов и увидел сестру, бежавшую с легкостью лани к нему. Овнатан бросился ей навстречу, они обнялись.

— Знаешь что, Маргарита, — таинственно прошептал он, — зайдем на минуту в гончарную. Я хочу тебе кое-что показать...

Девушка взяла его за руку, и они вместе направились к мастерской. По волосам Маргариты стекала вода и капала ей на грудь и плечи.

Колокола звонили к вечерне; когда они подошли к дверям гончарной, там уже никого не было. Все закончили работу и ушли домой.

Овнатан открыл тяжелую дверь, и Маргарита вошла в мастерскую. От вечерней прохлады и какого-то непонятного страха все ее тело дрожало.

Она взглянула в глаза брата, и ей показалось, что под его густыми бровями ярко светятся два огонька. И когда они подошли к укрытой тряпьем скульптуре Давида, Маргарита прошептала:

— Я боюсь...

— Чего?

— Не знаю...

Овнатан улыбнулся.

Улыбка брата успокоила Маргариту. Ей было шестнадцать лет. Девушка в этом возрасте уже не девочка, но еще и не женщина. Она вся во власти тревожных предчувствий и непонятных страхов. То зовет ее чей-то чарующий голос, то кто-то нежно касается ее

плеча. Но когда она, с трепетом в сердце, полная смятения, порывисто оборачивается — никого нет. Или это ветер крылом коснулся ее? Она все время будто с кем-то играет, и эта таинственная игра продолжается до тех пор, пока перед ней не обнажится мир, пока не разорвется завеса, закрывающая от нее действительность, пока не взойдет солнце жизни и не рассеет лучами своими темную, полную тревоги ночь, которая окутывает девичью душу.

Овнатан молча снял со скульптуры тряпье, Маргарита вскрикнула и прижалась к брату.

— Это Давид?

— Да, Давид.

Сестра со всех сторон рассмотрела скульптуру. Страх Маргариты сменился восторгом.

— Я хочу сделать и твою скульптуру, Маргарита...

— Так же, как Давида?

— Да...

— А что скажут отец и мать? — прошептала девушка.

— Никто ничего не увидит. Мы будем приходить сюда по утрам, перед началом работы, и в воскресные дни. А потом... ведь ты моя сестра...

— А ты мой брат!

И Маргарита крепко обняла юношу.

Они вышли из мастерской. Последние лучи солнца уже скользили по макушкам самых высоких деревьев, темнели красные черепичные крыши домов, а небо на западе покрывалось лиловой золой отгоревшего дневного костра.

12

— Еще два дня, и работа будет окончена, — сказал сестре Овнатан, прикрывая изваяние. В этот миг ему показалось, что под грязными тряпками скрылась сама луна.

Они вышли из мастерской.

Чуть погода в гончарную зашел Иеремия.

Смочив глину и покрыв ее влажной простыней, он огляделся. Ему захотелось еще разок посмотреть на скульптуру маленького Давида. Он снял с изваяния тряпки и окаменел от изумления. «Кто эта бесстыжая девка, которая обнажилась перед моим сыном и позволила ему смотреть на себя?»

«Но, быть может, нагая женщина — игра его воображения?» — подумал гончар. Но нет, девушка стояла перед ним как живая. Тогда он взглянул ей в лицо... и узнал. Кровь бросилась ему в голову, все тело задрожало.

И тут его как будто окутал красноватый туман, руки сами собой сжались в кулаки, подобно рукам убийцы, готового броситься на свою жертву; сильным ударом он разбил голову статуе, затем смял ей грудь, отломал руки, стремясь прикрыть кусками глины наготу своей бесстыжей дочери. Наконец он снова прикрыл обезображенную скульптуру тряпками и пошел к двери. Но здесь им вдруг овладела непонятная слабость. Руки опустились, ноги отказались идти, и он заплакал, как ребенок. Иеремия понимал, что он разбил целую жизнь, но он не мог поступить иначе, не мог сдержать свой гнев.

Вскоре в мастерскую пришли его братья. Они сразу заметили, что с Иеремией случилось что-то неладное. Он выглядел так, словно только что потерял очень дорогого и близкого человека.

— Что с тобой? — спросили они.

— Ничего, все в порядке, — с горькой улыбкой ответил он.

И Иеремия направился к своему стайку. Его руки и ноги вновь задвигались в том же ритме, в каком они работали свыше пятидесяти лет. Сделав несколько сосудов, он взглянул в сторону отцовского станка. За ним стоял Овнатан, занятый изготовлением высокого кувшина, своей формой напоминавшего фигуру человека. Отец понял, что сын еще ничего не знает о случившемся, и его руки вновь бессильно опустились.

Когда после работы Овнатан подошел к нему, Иеремия не посмел посмотреть юноше в глаза.

На следующее утро брат и сестра, как обычно, тихо прокрались в гончарную.

Сбросив тряпки с изваяния, Овнатан на секунду застыл на месте, Потом он с плачем упал на колени, обнял изуродованные ноги статуи и припал лбом к влажной глине.

Маргарита подбежала к брату, обняла его голову и прижала к своей груди.

— Кто мог это сделать? — спросила она.

— Отец, — беззвучно прошептал Овнатан, продолжая плакать.

В гончарной никого не было, и утреннее безмолвие нарушалось только громкими рыданиями брата и сестры.

— Ступай домой, — сказал наконец Овнатан.

Вытерев передником слезы, Маргарита направилась к выходу.

— Пой! — внезапно остановил ее юноша.

Девушка обернулась.

— Мы не увидимся больше. Прощай!

— Овнатан?..

Маргарита снова заплакала.

— Поцелуй мать и Давида...

Опасаясь, что отец застанет ее здесь, девушка поспешила домой.

А еще через несколько минут в мастерскую пришел Иеремия. Не взглянув на сына, он молча направился к своему станку.

— Отец! — окликнул его Овнатан, вставая.

Иеремия остановился.

— Отец, я ухожу из дому. Ухожу навсегда.

— Ступай! Мне не нужен сын без стыда и совести! — отрезал Иеремия.

Юноша ушел. Иеремия положил на круг глину, но работать он не мог. Пальцы отказывались ему повиноваться. И он все думал и думал о своем курчавом синеглазом сыне.

«Ухожу навсегда», — с дрожью вспомнил он и, не в силах более сдерживаться, побежал домой. Здесь он рассказал жене о том, что произошло, надеясь в глубине души найти у нее поддержку и утешение.

— Ничего непристойного они не сделали, — возразила мать Овнатана и Маргариты. — Ведь она ему сестра...

— Молчи, жена! — прервал ее Иеремия. — Верно сказано в священных книгах: все женщины беспутны...

И мать умолкла. Она хорошо знала, что, если добавит хоть слово, на ее голову обрушатся громы и молнии.

— Уходит? Ну и пусть уходит! — продолжал Иеремия и тут же почувствовал, как заныло сердце.

— Где Давид? — неожиданно спросил он.

Позвали Давида.

— Вот, возьми эти несколько золотых, пойдешь к дороге, что ведет к высохшему роднику, и дожидись Овнатана, — распорядился отец. — Когда он пройдет мимо, отдай их ему и пожелай счастливого пути.

— Я пойду с ним! — взмолилась мать.

Но Иеремия только сверкнул на нее глазами, и она тотчас умолкла, боязливо прижавшись к стене. Слово мужчины — закон, и закон этот установлен самим богом.

Притаившись за занавеской, Маргарита слышала разговор родителей. Не успел Давид выбежать из дома, чтобы исполнить поручение отца, как она поспешила за ним.

— Подожди, Давид! Я пойду с тобой...

Девушка спустилась в подвал, взяла белье Овнатана, связала его в узел и поднялась во двор.

— Поцелуй его синие глаза, — украдкой шепнула ей мать.

Высохший родник был построен еще в незапамятные времена. По сей день его украшали каменные изваяния тигра и льва, из широко раскрытых пастей которых некогда струилась студеная вода. Но много лет назад подземный обвал преградил путь воде, и родник перестал бить. Об этом роднике люди сложили легенду. Говорили, что будто бы каждую ночь из него идет вода. Но всего одно лишь мгновение. И если кто-нибудь успеет испить — обретет бессмертие. Но еще никому не удалось сделать это. Иные приходили сюда на закате и уходили на рассвете, но всегда их одолевал сон, и мгновение бессмертия проносилось мимо.

Дойдя до высохшего родника, Маргарита и Давид присели на камень.

Тем временем Овнатан, на чело которого, подобно густому слою пыли, легла печаль, стоял на коленях у могильной плиты Андреаса, сына Давида, и шептал:

— Ты завещал нам не бросать глину, дед, но я все-таки уйду. Ты прав, глина добра, в ней — жизнь, но люди злы и невежественны. Прости меня, дед. Я возьму с собой горсть глины. Пусть она светит мне в пути и навсегда свяжет меня с родиной.

И на могилу Андреаса, как капли дождя, упали горячие слезы его внука.

Овнатан умолк. Он надеялся услышать голос деда. Но вокруг была тишина, и лишь ветерок тихо шелестел в мягкой траве и шуршал в листьях деревьев. К этим нежным звукам примешивались глухие всхлипывания юноши.

Овнатан встал и вышел на дорогу. Уже перед заходом солнца добрался он до высохшего родника, где его давно поджидали Давид и Маргарита.

— Отец просил передать тебе эти золотые, — сказал Давид, протягивая брату монеты.

— А вот твоё бельё! — Маргарита передала юноше узел.

Нежен был голос девушки, и Овнату показалось, будто иссушенный веками родник вдруг ожил и его струи зазвенели серебряными колокольчиками.

Овнатан обнял Маргариту и поцеловал её.

— Будь осторожна, сестра, — сказал он тихо. — Береги себя. Никто и никогда не будет смотреть на тебя с таким благоговением, как я.

Маргарита ничего не ответила и горько заплакала.

Смеркалось. В небе одна за другой загорались звезды, и, глядя на слезы, сверкавшие на ресницах сестры, Овнатан подумал, что они улетят высоко-высоко и сегодня ночью на небе появятся новые светила.

Юноша поцеловал младшего брата, погладил его курчавую голову и, перекинув через плечо узелок с бельём, словно суму скитальца, не оглядываясь, зашагал...

Маргарита и Давид не отрываясь смотрели ему вслед, пока его не поглотила высокая зелень полей, скрывшая от их глаз и дорогу и путника.

Домой они пришли поздно, когда из-за высоких стен старой крепости, будто голова святого мученика, уже выплывала полная луна.

С их приходом тишина в доме нарушилась.

Мать встала, положила в кадку несколько горящих угольков и щепотку ладана и стала кадить по всем углам.

Синеватый дымок кольцами поднимался вверх, наполняя комнату запахом смерти.

А в темноте раздавался монотонный, раздирающий душу плач Иеремии.

13

От Овнатана не было никаких вестей. Мать сложила песню о сыне и пела её, обливаясь слезами. Плакал и Иеремия, как только взгляд его падал на старый дедовский станок, за которым теперь никто не стоял.

Маргарита вышла замуж, и вскоре вся её краса поблекла, как сорванная роза.

Давид вырос. Невзлюбив гончарное дело, он занялся торговлей.

Однажды, когда Иеремия сидел за станком и изготовлял очередной кувшин, он почувствовал, что у него отнимаются руки и ноги. Усилием воли он преодолел слабость и попытался продолжить работу, но тут же упал. Его подняли, посадили на арбу и отвезли домой.

Еще на пороге Иеремия услышал плач и скорбную песню, которую пела несчастная мать о своем курчавом синеглазом сыне. Его уложили в постель, и сын Андреаса мирно и спокойно, без страха перед смертью навсегда закрыл глаза.

Похоронили Иеремию рядом с его отцом.

А годом позже умерла и его жена.

Давида в городе не было. Незадолго до этого он уехал на юг за товаром, и когда вернулся, мать уже покоилась на берегу верхнего водоема рядом с отцом и дедом. Давид перекрестился, пролил несколько слезинок и вспомнил Овнатана, тоска по которому свела в могилу его родителей.

Молодой человек не пожелал остаться и родном городе. Он продал дом, все имущество и уехал на юг, где, поговаривали, приворожила его одна хорошенькая девушка-смуглянка.

— Не забывай ухаживать за могилами, — сказал он, целуя на прощанье сестру.

— А если вернется Овнатан? Что передать ему от тебя?

— Он не вернется, — безнадежно махнул рукой Давид.

— Вернется! — с какой-то внутренней убежденностью возразила Маргарита.

Брат и сестра расстались.

С той поры каждую весну, когда лили дожди, Маргарита тщательно окапывала землю вокруг могил, чтобы потоки воды не потревожили вечного покоя усопших гончаров.

14

Но вот однажды у ворот старого дома Иеремии, сына Андреаса, остановилась дорожная коляска. Из нее вышел средних лет мужчина, виски которого уже серебрила седина. Уверенно подошел он к воротам и привычным движением трижды постучал в них железной колотушкой.

Ворота отворила незнакомая женщина, и приезжий понял: отчий дом перешел в чужие руки.

— Скажите, где живут прежние владельцы этого дома? — спросил он.

Женщина перекрестилась: нельзя вспоминать о покойных, не осеняя себя крестным знамением.

— А где Давид?

— Он на юге...

— А Маргарита?..

— Она жена Григора, сына Тадеоса...

— Где его дом?

— В нижнем квартале, напротив сводчатого родника...

Приезжий поклонился женщине и удалился.

На улице никто не узнал его, но ватага ребятишек, привлеченная одеждой незнакомца и особенно его широкополой соломенной шляпой, следовала за ним по пятам.

— Маргарита!..

— Овнатан!..

Маргарита крепко обняла брата и как родного сына прижала его к истосковавшейся груди. Из глаз капали слезы, чистые слезы радости.

Пока сестра целовала Овнатана, ее дети обнимали его ноги, а один из них даже взобрался ему на плечи.

Они много раз слышали о своем дяде, и хотя никто не сказал им, что это он, почувствовали что-то родное и потянулись к нему.

На следующее утро Овнатан и Маргарита, взявшись за руки, пошли к верхнему водоему, на могилу родителей и деда.

— Скажи, что случилось с братьями отца? — спросил Овнатан.

— Никого из них в живых нет, а сыновья их по-прежнему делают кирпичи. Посмотри, видишь дымок. Он поднимается над их печью. Мы теперь стали почти чужими.

Лишь изредка встречаемся на улице, перекидываемся двумя-тремя словами и расходимся.

— А обо мне они никогда не вспоминают?

— Помнится, однажды старший из братьев отца остановил меня на улице и спросил: «Не получила ли ты весточку от своего беспутного братца?», но я ему ничего не ответила.

Овнатан печально улыбнулся.

Они подошли к водоему. Положив на могилы розы, Овнатан долго рассматривал изваянный им много лет назад бюст деда, который от времени уже потерял свою первоначальную форму. Посмеявшись в душе над своей ранней юношеской работой, скульптор подошел к краю водоема.

Водоем был сух, и на дне его под лучами утреннего солнца блестела глина. Едва взглянув на нее, Овнатан вспомнил то, с чего начинал. А Маргарита, стоя рядом с ним, вспоминала

тот день, когда брат увидел ее здесь обнаженную. Какой холодной была тогда вода! Она словно вновь почувствовала на своей груди и плечах прикосновение капель, стекающих с волос.

Они вернулись к могилам, и Овнатан, присев на плиту, под которой покоился прах Андреаса, заговорил:

— Ты велел нам не бросать глину, дед. Я ушел, но память о ней всегда хранил в сердце. И она грела меня, наполняя душу мою чудесным волнением. Теперь я вернулся, дед, вернулся с тоской по твоей необыкновенной глине и вдыхаю ее благоуханный аромат. Я долго противостоял житейским бурям, дед. Я спускался на самое дно жизни и слышал скорбный стон человеческих страданий. Я познал всю трагедию человечества, одновременно весь комизм его существования. Знай, дед, что большинство честных людей на земле живет в нищете, и нищета эта страшнее самой смерти. Но она порождает благородный гнев и закаляет душу, она делает человека стойким и мужественным. А теперь беда пришла и в нашу страну...

Горло Овнатана сдавили рыдания, он умолк.

Маргарита взяла его за руку и показала на видневшийся вдали город. Погруженные в свои мысли, они молча шли обратно. По обе стороны дороги подымалась высокая трава, кусты шиповника и дикие желтые розы.

— Скажи, Овнатан, где ты жил все эти долгие годы и чем занимался? — неожиданно спросила Маргарита.

Овнатан присел на придорожный камень и усадил сестру рядом с собой.

— Я жил далеко, далеко на западе, — сказал он. — В стране, которую с трех сторон омывает море. На карте эта страна напоминает сапожок. Там зреют апельсины и лимоны, растут оливковые деревья, а виноградные, гроздья пышны и упруги, как девичья грудь. Теплый южный ветерок колышет коробочки хлопка, и гранаты краснеют, как губы женщин. На севере страны возвышаются горы, на которых шумят дубовые леса и вечно зеленые кедры, и хотя земля эта расположена в умеренном поясе, вся она покрыта богатой тропической растительностью. У женщин там глаза огромные, миндалевидные, глубокие, как море, и темные, как маслины. Их волосы пахнут померанцем и черны, как уголь, а стан подобен стройному тополи и гибок, как тростник. Повсюду слышны там песни...

Многие города там выстроены из белого камня. Я жил в одном из них. Он древнее самых древних наших пергаментов. Каждый камень в нем — свидетель героических событий давно минувших веков. А когда свежий ветер с моря приносит туда дыхание сегодняшнего дня, современность переплетается с ароматом старины и жизнь становится волшебным, чарующим сном. Кажется, что звезды спускаются в море, каждый куст, каждый камень, каждая травинка трепещут, как живое человеческое сердце.

Но на самом дне этой страны раскинулось глубокое море нужды. В тисках ужасного голода гибнут тысячи и тысячи людей, старые и молодые — те самые, что строили эти великолепные, эти замечательные города. Всюду слышны стоны несчастных бедняков. Я верю, что простые труженики земли, в поте лица создающие блага, которыми не пользуются, поднимутся и сметут этот несправедливый миропорядок.

В одном из городов, богато украшенном мрамором, жил некогда величайший ваятель всех времен. Я собственными глазами видел его творения, и вот этими руками прикасался к ним. Они просуществовали века, но и сейчас, как живые, волнуют сердца. Я любовался статуей, которую изваял этот мастер, статуей старца, беседующего с богом на вершине горы, что возвышается над раскаленными песками пустыни. Величествен этот старец, борода его спадает вниз подобно водопаду. Священное писание повествует, что бог ударами грома передал ему волю свою и помог спасти народ от тирании, избавить его от голода и всех ужасов опустошения.

Я поклонился творениям старого мастера, поклонился другим тамошним мастерам и долгое время изучал их искусство. Потом я решил вернуться на родину, чтобы самому создавать скульптуры из нашей глины и белого камня.

— Скажи, брат, — спросила Маргарита, когда Овнатан кончил свой рассказ, — неужели и вправду так несчастны люди в том краю?

— Да, беспредельно несчастны.

— Но почему же столько горя в такой прекрасной стране?

— Потому, сестра моя, что все люди на земле разделены на властителей и подвластных.

Они замолчали.

По бескрайной долине песней пронесся ветерок. Закачались дикие розы, заколыхалась трава.

Когда Овнатан и Маргарита пришли домой, огромный апельсин солнца уже опускался за гору и от земли поднимался синеватый полумрак. Нежно журчали ручейки, а в листве деревьев эхом отдавался вечерний перезвон колоколов.

— Нижний этаж нашего дома свободен, — сказал Овнату муж Маргариты. — Устрой там себе мастерскую и работай. Спать ты можешь в маленькой комнате, в той, что выходит окнами в сад, а еды, которую готовит Маргарита, хватит и на тебя.

— Ты мой брат! — сказал Овнатан растроганно.

Маргарита благодарно посмотрела на мужа.

Рано утром Овнатан надел белый халат и колпак, спустился на первый этаж и привел все там в порядок. Потом он пригласил рабочего и поручил ему пробить в стене большое окно.

На другой день Овнатан купил посуды разной, погрузил ее на арбу и привез в ней глину, которую затем свалил в углу мастерской.

На третий день он вместе с аробщиком поднялся на гору и отколол от скалы глыбу белого камня, которую тоже привез в мастерскую.

Затем он перенес туда же все инструменты, которые привез с собой из своего странствия.

Через несколько дней Маргарита и ее муж спустились к нему и, переступив порог, замерли от удивления.

— Овнатан, брат мой! — воскликнул его зять. — Эта комната еще ни разу не видела солнца, а теперь стены ее излучают свет.

С этого дня каждый вечер, когда Овнатан, окончив работу, поднимался к себе в комнату, его брови и ресницы казались седыми от белой каменной пыли.

Сначала он изваял две фигуры. Одна из них олицетворяла красоту, а другая — горе. Ноги обеих фигур вращались в грубую, необработанную каменную глыбу.

— Почему их ноги словно увязают в камне? — спросила Маргарита, когда она увидела почти готовые скульптуры.

— Этот камень, дорогая сестра, изображает землю. И красота и горе порождены ею и ею же слиты воедино.

Овнатан работал без усталости. Стук его молотка раздавался от зари до зари. Лишь изредка он умолкал, с тем чтобы через минуту зазвучать снова. И эти удары, словно удары сердца, глухо отдавались в верхнем этаже.

Много сделал Овнатан из глины. Закончив лепку, он обжигал изваяние в печи.

Прошло немного времени — и мастерская преобразилась. Теперь она была заполнена скульптурами, которые, казалось, напоили сам воздух живым ароматом красоты. Вдоль стен, на полках или просто на земле — стояли статуи, и в каждой из них была глубокая мысль и подлинная поэзия.

Вот ларчик, а рядом с ним юноша с луком в руках и колчаном за плечом. Высокий, с богатырской грудью и могучими мышцами, он стережет лучшие творения человечества.

А вот другая скульптура — брат и сестра сироты. Они стоят, крепко обняв друг друга, чтобы противостоять житейским бурям.

Застывшая в прыжке нагая девушка с мечом в руке.

Человек в лохмотьях. Он стоит на коленях, склонив голову к земле, с глазами, повязанными платком. А рядом с ним мрачная фигура палача, занесшего над ним тяжелый меч.

Одна из скульптур изображает мать. Протянув вперед руки, с развевающимися по ветру волосами, она, как безумная, бежит куда-то, и кажется, что сейчас послышится ее горестный плач.

Вот землепашец. Устали его спина и руки. Сгорбившись, трудится он под палящими лучами солнца.

Группа рабочих. Крепкие и мускулистые, они кирками разрывают гору.

Старик, читающий книгу. Он тощ, как скелет, со вздувшимися венами на руках.

Молодая женщина, покинутая и оскорбленная, прижимает к груди новорожденного ребенка. Страдание и печаль на ее лице.

Среди скульптур, изваянных Овнатаном, были и скачущие лошади, и волчица со вздувшимся выменем и волочащимися по земле сосками, и медведь, схватившийся с охотником, и лев, раздирающий какое-то животное.

Одним словом, в мастерской жил и дышал целый мир.

Иногда Овнатан приводил в мастерскую натурщиц. Правда, женщины, которые соглашались обнаженными позировать, были далеко не безупречного поведения, и хотя все они в один голос утверждали, что не видели мужчины более нравственного, чем Овнатан, это бросало тень на репутацию скульптора.

— Приводит к себе уличных девок и заставляет их часами стоять перед собой голыми, — судачили вокруг.

Овнатан пропускал подобные слова мимо ушей, это еще больше распаляло сплетников. Они нашли, чем уязвить его.

— Жаль! Ах как жаль сына Иереми! — лицемерно сокрушались они, — Ушел из дому, бродил бог весть сколько по белу свету, и хоть вернулся в широкополой шляпе, а остался таким же никудышным человеком, каким был прежде. Теперь сидит на шее у свояка и ест его хлеб.

Овнатан был задет за живое, ломоть стал застревать у него в горле, и он вывесил объявление о продаже своих скульптур.

И вот в мастерской собрался народ. Люди с любопытством рассматривали скульптуры, восхищались ими, но ни один из них и не подумал что-либо приобрести.

— Зачем нам эти статуи? — рассуждали они. — Разве могут они насытить голодное брюхо? Так за что же нам платить деньги?

Овнатан же надеялся, что-нибудь продается и он расплатится с зятем, хотя одна мысль о том, что кто-то унесет с собой его скульптуру, заставляла сердце мастера сжиматься от боли.

Но все работы остались в мастерской, и железные цепи отчаяния сковали душу и сердце их творца.

После долгих и мучительных колебаний, Овнатан решил обратиться к местным властям и предложил приобрести им его произведения с тем условием, что они будут выставлены для всеобщего обозрения в одном из выставочных залов города.

— Профессор, — сказал ему в ответ епископ — глава епархии, — вылепи царя, Христа и святых апостолов, и я тебе хорошо заплачу.

— Через два дня я отвечу вам, ваше преосвященство, — поклонился ему Овнатан и удалился.

Отчаяние, владевшее до сих пор скульптором, сменилось гневом, и он готовился обрушить его, словно обнаженный меч, на головы своих врагов.

Спустя два дня служитель епархиальной канцелярии в сопровождении главного письмоводителя торжественно поставил к ногам его преосвященства тяжелый ларец — дар художника главе епархии.

— Откройте ларец, — приказал епископ, покашливая и с довольным видом поглаживая свою бороду.

Справа и слева от него восседала местная знать.

Главный секретарь развязал ленты, которыми был тщательно перевязан ларец, и поднял крышку.

Когда подарок был извлечен, присутствующие застыли в ужасе. Никто не осмеливался взглянуть в перекошенное от гнева лицо епископа, борода которого лихорадочно подергивалась.

В ларце оказалась миниатюрная скульптура — две фигурки, стоящие друг против друга. Одна из них изображала самого епископа, а другая Овнатана. Скульптор показывал его преосвященству кукиш, да так, что его большой палец касался самого носа последнего.

— Анафема! — вдруг заорал начальник епархии.

Его знатные гости повскакивали со своих мест.

После долгого молчания один из них сделал несколько шагов вперед, поклонился епископу и сказал:

— Не волнуйтесь, ваше преосвященство. Это может повредить вашему пищеварению.

Епископ в страхе потер живот правой рукой, на указательном пальце которой сверкал золотой перстень с огромным изумрудом, и распорядился:

— Унесите этот хлам и разбейте вдребезги.

Главный письмоводитель позвал слуг, и скульптура была тут же вынесена из зала.

Гости поклонились хозяину и поспешно удалились, а его преосвященство направилось к себе в спальню, где его поджидала одна из любовниц.

Однако главный письмоводитель не позволил разбить скульптуру. Он отправил ее к себе домой, а слугам, дабы те молчали, дал пшеницы, муки, сахару, меду и вина.

Уже дома, присмотревшись к фигуркам, он разразился гомерическим хохотом. Он вспомнил епископа, восседавшего в широком, обитом бархатом кресле, и надменное выражение его лица, застывшего в ожидании подарка, который покорно прислал ему самый гордый из всех рабов Христа.

— Искорошили, превратили в пыль и вымели вместе с прочим мусором, — доложил главный письмоводитель на следующий день его преосвященству, осведомившемуся о скульптуре.

Для художника настали тяжелые дни. Редко кто из знакомых здоровался с ним на улице, редко кто отвечал на приветствие. Епископ предал его проклятию как «безбожника» и «развратника».

Даже муж Маргариты и тот осудил Овнатана за непочтение к служителям церкви. Одна только Маргарита по-прежнему боготворила брата и верила в него. Она стирала и гладила белье его, латала рабочие халаты, штопала носки.

— Не отчаивайся, Овнатан. Если будет нужно, я продам свои косы, но прокормлю тебя, — говорила она, смотря на него преданными глазами.

Но Овнатан не поднимался больше наверх обедать. Ему не хотелось вступать в пререкания с зятем. Спрятав под передником завернутые в лаваш остатки обеда, Маргарита спускалась в мастерскую и кормила брата.

— Муж прислал, — каждый раз лгала она, чтобы Овнатан ел.

Овнатан не верил сестре, но когда она уходила, все же съедал обед.

Как-то епископ призвал к себе мужа Маргариты.

— Веруешь ли ты в бога? — спросил он его.

— Верую, — ответил раб божий.

— Веруешь ли ты в Христа?

— Верую...

— Предан ли ты церкви Христовой?

— Всею душой...

— Ведаешь ли ты, что я представитель этой церкви?

— Ведаю...

— В твоём доме живёт нечестивый пес, прелюбодей и безбожник... Повелеваю тебе лишить его хлеба! — поднявшись, приказал епископ. — А теперь ступай!..

— Слушаюсь, ваше преосвященство! — покорно склонив голову, ответил муж Маргариты.

Пошатываясь, как пьяный, вышел он из епископского дворца и нетвердым шагом побрёл домой.

А дома сразу же спустился в мастерскую Овнатана. Болью отдавались в его сердце удары молотка скульптора. Взяв его за руку, он с трогательной теплотой посмотрел на того, кого назвал своим братом. Жили они в одном доме, но уже давно не видели друг друга.

Увидев, что глаза зятя светятся прежней добротой и лаской, Овнатан вскочил и протянул ему руки. Они горячо и крепко обнялись.

Потом муж Маргариты подробно рассказал скульптору о своём разговоре с епископом.

— Уступи мне только это помещение, брат, — попросил Овнатан.

Муж Маргариты смущенно опустил голову.

— Пусть только никто не знает о том, что я тебя кормлю, — сказал он.

— Обещаю. Скоро, очень скоро, придет ко мне смерть, и тогда ты освободишься от меня навсегда, — спокойно ответил скульптор и поднял на зятя свои воспаленные, горящие лихорадочным блеском глаза.

Муж Маргариты снова обнял его.

— Прости меня, — прошептал он.

Лицо Овнатана озарилось спокойной, всепрощающей улыбкой.

Вечером Овнатан перенес свою кровать в мастерскую.

Ночью, сидя в одиночестве перед грудой сырой глины, он заговорил с ней, как с живым существом:

— Настал час, когда я должен вылепить из тебя в последний раз то, что задумал. Меня преследует мрак. Он преследует все человечество, принося ему горе и страдания, он везде, где гаснет светоч знания. Ты праматерь всего сущего, его первоначальная форма. Это ты даришь нам хлеб, делаешь розу алой, питаешь корни деревьев и украшаешь их ветви всевозможными плодами. Преображаясь в бесчисленное множество дивных форм, ты жила многие века, живешь и будешь жить вечно. Подари же мне свою непостижимую силу, свою необоримую мощь.

Голос Овнатана гулко раздавался в ночной тишине, заполняя сумрачную пустоту мастерской. И казалось, что он исходит из самых затаенных глубин его сердца.

И вдруг взору скульптора открылось чудесное видение, подобно ослепительному лучу, внезапно ворвавшемуся во мрак подземелья. В нем родился новый творческий замысел.

Не теряя времени, он бросился к глине и принялся лепить, придавая своему видению реальную, осязаемую форму. Он работал долго, работал до тех пор, пока не запротестовали его усталые кости.

Когда Овнатан лег наконец в постель и натянул на себя одеяло, ему показалось, что он провалился в какую-то пропасть.

Утром, когда Овнатан еще спал, Маргарита принесла в мастерскую завтрак. Проснувшись, он увидел сестру с умилением смотревшую на него, и улыбнулся. А Маргарите показалось, что в его синих глазах занялась заря.

Овнатан работал целый день. Теперь уже можно было понять его замысел. На одном из склонов холма виднелась толпа людей, молодых и старых, женщин и мужчин. Были здесь и дети. Нагие, испуганные, они прижимались к ногам взрослых, обнимая их своими тоненькими ручонками. И все эти гонимые, претерпевшие невероятные страдания люди, с обветренными лицами и растрепанными бурей волосами, стремились к вершине горы, вслед за суровым неукротимым человеком с факелом в руке.

Здоровье Овнатана катастрофически ухудшилось, он работал с лихорадочной поспешностью, чтобы, закончив лепку, успеть высечь ее из белого камня в натуральную величину. Он слышал тяжелую поступь смерти, которая неумолимо приближалась к нему, но не испытывал страха — только бы завершить работу. Он умрет не раньше, чем воплотит в камне все муки человеческие, отобразит чудовищное напряжение утомленных мышц, страстно протянутые к вершине горы руки, пустые глаза слепца, отчаяние детей, стенания несчастных.

Глядя на осунувшееся лицо брата, его словно восковые исхудалые руки и лихорадочно горящие глаза, Маргарита встревожилась.

— Его надо немедленно перенести наверх. Он не должен больше работать, — шепнула она мужу.

— Ну конечно, — согласился тот.

Они спустились в мастерскую и стали уговаривать Овнатана, чтобы он отдохнул.

— Завтра к вечеру я закончу работу, тогда и перейду к вам наверх, — ответил скульптор каким-то странным, будто не своим голосом.

После полудня он долго отделявал мельчайшие детали скульптуры.

Вечером, усталый и вконец разбитый, он лег спать раньше обычного. Проснулся он от сильного сердцебиения. Ему не хватало воздуха. Овнатан с трудом поднялся. Он испытывал какое-то странное чувство, как будто все вокруг него непонятным образом изменилось. Скульптор подошел к окну, раскрыл его и глубоко вдохнул в себя свежий утренний воздух. Это немного подбодрило его. Сознавая, что смерть близка, Овнатан с тоской посмотрел на скульптуру. Потом взял самый маленький из своих инструментов и подошел к ней. Он хотел закончить работу, но рука его ослабела и перестала повиноваться. Последним, нечеловеческим усилием воли Овнатан высек на вершине горы, у самых ног человека с факелом одно лишь слово — СВОБОДА.

Потом он опустился на стул, оперся правым коленом на таз с глиной, облокотился на подножье памятника и припал головой к нему. Он пытался вздохнуть, но у него вдруг перехватило горло. Тогда он спокойно закрыл глаза.

Утром Маргарита, как обычно, принесла в мастерскую завтрак.

— Опять он всю ночь не спал, — прошептала она, увидев Овнатана у скульптурной группы.

Маргарита подошла к брату и взяла его за руку — она была холодна. Она схватила голову Овнатана, прижалась губами к его лбу — и он был холодный.

Послышался душераздирающий крик и потом громкое рыдание. Сестра оплакивала смерть брата.

После похорон Маргарита спустилась в мастерскую и обильно оросила глину слезами. А еще через несколько дней она оделась во все черное и пошла к одному из своих двоюродных братьев с просьбой обжечь последнюю скульптуру Овнатана.

Когда это было сделано, Маргарита перенесла скульптуру в мастерскую, наглухо забила ее окна, заперла и опечатала дверь.

— Никто не переступит этого порога, пока не умрет самый младший из моих сыновей, — заявила она.

Шли годы. Прекрасные творения покрылись пылью забвения.

Страна стояла на пороге больших событий. Закачался, а вскоре и вовсе рухнул старый строй. Стоны гибнувших смешались с торжествующими голосами победителей. Люди, чьими руками был построен мир, не знавшие прежде ничего, кроме безрадостного, изнурительного труда, поднялись против своих угнетателей. Могучим неудержимым потоком хлынули они с заводов, портов и полей, спустились вниз с горных сел и деревень и затопили города. Засвистели пули, загрохотали пушки. Были сброшены с трона тираны, растоптаны усыпанные алмазами кресты, разорваны в клочья пышные наряды богачей, политые потом и кровью трудящихся. Народ захватил дворцы и замки, разрушил тюрьмы. И из темных подземелий вышли на свет бледные и голодные, но горящие жаждой жизни люди. Господству царей пришел конец.

Вместе со всей страной поднялся на борьбу и город на берегу древней реки.

Над бескрайней долиной запылало зарево пожаров, а на деревьях закачались тела больших и малых тиранов. Их, на коленях вымаливавших себе пощаду, постигла справедливая, священная кара.

Власть перешла в руки тружеников. Новое общество вспомнило о великом скульпторе, глиняные изваяния которого рассказывали о гонимых и обездоленных. Бабушка многочисленных внуков, седая Маргарита, открыла двери мастерской, с ключами от которой она после смерти Овнатана не расставалась никогда.

Смахнули густую пыль с прекрасных творений великого скульптора. Был выделен специальный зал для его работ в национальном музее. А последнюю работу Овнатана передали молодым ваятелям, чтобы они высекли ее из белого мрамора. Свежий воздух ворвался в распахнутые двери и окна темной кельи, и в ней снова зазвучали звонкие удары молоточков ваятелей. Памятник был сделан в натуральную величину, именно таким, каким был задуман он великим скульптором.

* * *

Сейчас памятник этот установлен на большой центральной площади города. Под мраморной плитой покоятся останки скульптора, на ней высечено:

ОВНАТАН — СЫН ИЕРЕМИИ

РАССКАЗЫ

Из цикла «Америка»

1. Арабская баллада

В то время я работал в отделе восточных ковров Уинтенского торгового дома. Однажды, когда все продавцы были заняты, меня попросили принять одного из покупателей. Он выбрал несколько дорогих ковров и, подавая мне свою визитную карточку, сказал:

— Моя жена разбирается в коврах лучше меня. Завтра она зайдет к вам. Будьте добры показать ей ковры, отложенные мною. То, что она выберет, пошлите домой. Чек получите в конце месяца.

— Хорошо, сэр, — ответил я.

Посетитель записал мою фамилию и ушел. На его визитной карточке стояло имя мистера Уолдорфа Шилда, известного торговца страусовыми перьями.

Миссис Шилд, подумал я, видно, из тех женщин, которые воображают, что знают толк в коврах только потому, что побывали на Востоке.

На следующее утро в магазин вошла молодая женщина.

Один из продавцов поздоровался с ней и предложил сесть. Женщина слегка кивнула головой в ответ на приветствие и, достав из сумочки бумажку, протянула ему.

Продавец подозвал меня.

— Доброе утро, — сказала женщина.

— Доброе утро, — ответил я.

— Я миссис Шилд.

— Очень приятно, миссис, пойдемте я покажу вам ковры.

Миссис Шилд была высокой, стройной женщиной со смуглым лицом и иссиня-черными глазами, странно блестящими, словно в них притаилась утренняя звезда. Она грустно улыбалась и была похожа на лилию, цветущую в ночи.

Я стал показывать ковры, отобранные ее мужем. Миссис Шилд говорила по-английски очень правильно, но с явным акцентом.

— Мой муж уверен, что я лучше разбираюсь в коврах, поэтому послал меня сюда. Правда, я с Востока, но ничего не смыслю в них. Надеюсь, вы поможете мне не осрамиться перед мужем.

— В таком случае, миссис, позвольте убрать эти ковры. Мы подберем с вами такие, за которые вам не придется краснеть.

— Буду признательна, — ответила она.

Я не ошибусь, если скажу, что миссис Шилд смотрела больше на меня, чем на разостланные перед ней ковры.

Я выбрал для нее саруг из мягкой шерсти с коралловыми цветами на голубом фоне.

— Сколько он стоит? — спросила она.

— Дорого, миссис, триста долларов. Но поскольку ваш муж ассигновал не более двухсот долларов, я оформлю это так, будто вы купили его с торгов прошлой недели.

— А сколько в таком случае он будет стоить? — заинтересовалась она.

— Со скидкой 180 долларов.

Миссис Шилд поблагодарила меня взглядом.

— Пожалуйста, отошлите этот ковер ко мне домой, я сейчас же оплачу его стоимость.

— Не беспокойтесь, сударыня, мистер Шилд обещал прислать чек в конце месяца.

— Нет, нет, я заплачу сейчас, у меня при себе есть такая сумма.

Она передала мне деньги, которые я отправил в кассу.

— Вы можете прислать ковер сегодня? — спросила она.

— Он будет доставлен вам на дом до вашего возвращения.

...Во мне заговорило любопытство; ведь я тоже с Востока, и мне захотелось узнать, откуда именно она.

— Простите, миссис, — осмелился я, — вы родом из какой части Востока?

— Из Аравии.

— Из Аравии?!

— Да, я арабка, — с печальным вздохом ответила миссис Шилд.

В этом вздохе я уловил глубокую скорбь. Меня поразила грусть ее черных глаз, под сводом тонких темных бровей.

— Вы тоже с Востока? — спросила миссис Шилд.

— Да, миссис, я из Турции.

Она, сочувственно посмотрев на меня, произнесла:

— Салам!..

— Салам!..

Ее приветствие согрело мою душу, как солнечный луч.

— Давно вы в Америке?

— Уже восемь лет.

— Вам нравится здесь?

— Как может нравиться эта страна? — воскликнула женщина, направляясь к лифту, дверь которого в этот момент открылась.

Она выделялась среди американок, стоявших в лифте, как выделяется роза среди других цветов.

2

Несколько дней спустя миссис Шилд опять появилась и нашей конторе.

Я сразу поспешил ей навстречу.

— Я пришла не за ковром, — сказала миссис Шилд, — я пришла увидеться с вами.

— Я хотел было позвонить вам, миссис, и пригласить на чашку турецкого кофе, но, честно говоря, не посмел.

— Есть тут поблизости кафе? — спросила миссис Шилд.

— Да, недалеко отсюда.

— Пойдемте, пожалуйста, — по-детски радостно предложила она.

Мы направились в кафе-ресторан «Константинополь», где подавали лучший турецкий кофе.

Там миссис Шилд рассказала о себе.

Ее муж, торговец страусовыми перьями, часто ездил на Восток — в Аравию, Афганистан, Египет и даже в Индию за товарами. Когда мистер Шилд впервые увидел ее, она была бесприютной бедной сиротой. Мистеру Шилду она понравилась, и он предложил ей выйти за него замуж и уехать в Америку.

— Я приняла предложение — это был выход из ужасной нищеты. И вот, я жена мистера Шилда, — закончила она.

— Но вы, должно быть, счастливы, миссис, — сказал я, — после стольких горестей и лишений — полное благополучие, богатство.

— О, не говорите, пожалуйста, о богатстве, — прервала меня она, — я так скучаю по Аравии, по нашим арабским скакунам, пальмам, по родному языку...

В ее печальных глазах я почувствовал затаенный жар аравийской пустыни.

— Там меня звали Эльхеме Бинт-эль-Талиб[35]. Теперь я миссис Шилд. Прошло столько лет, а я все еще не могу привыкнуть к своему новому имени. Мистер Шилд действительно любит меня и старается изо всех сил превратить Нью-Йорк для меня в рай. Но все его старания напрасны.

Я смотрел на миссис Шилд, и она мне напоминала одинокую пальму среди сыпучих песков или луч солнца, затерявшийся в облаках, — такая грусть чувствовалась в каждом ее слове, в каждом жесте.

— У меня одно заветное желание — раз, хотя бы один раз пробежаться босиком по жгучему песку и, увидев пальму, броситься в ее тень.

— Позвольте мне называть вас Бинт-эль-Талиб, — попросил я.

— Да, пожалуйста, я столько лет не слышала этого имени.

— Бинт-эль-Талиб, почему вы не попросите мистера Шилда отпустить вас на несколько месяцев в Аравию?

— Он боится, что я не вернусь больше. Нет, мне не видать уже ни пальм, ни горячих песков.

Я понял, что она, подобно редкостному южному растению, мерзнет и чахнет под холодными северными бурями.

Официант с подчеркнутой восточной любезностью подал нам две чашки кофе и удалился. Дочь Талиба грациозно протянула руку и взяла апельсинового цвета финджан[36]. На ее смуглом пальце сверкнул большой бриллиант. Заметив мой взгляд, остановившийся на драгоценном камне, женщина тихо произнесла:

— Поверьте, я отдала бы этот бриллиант за одну аравийскую песчинку.

Нельзя было не поверить в искренность ее слов.

— Бинт-эль-Талиб, вы похожи на финикийскую пальму, увезенную на север, — сказал я, — и напрасно мистер Шилд думает, что сумеет сохранить ее свежей и зеленой в этой стране цемента и бетона.

По щекам дочери Талиба покатались крупные слезы, сверкнувшие ярче, чем бриллиант, горевший на ее пальце.

— Я ненавижу автомобили, — сквозь слезы произнесла она, — мне бы так хотелось иметь арабского коня, я обняла бы его за шею и целовала...

В каждом ее слове слышалась острая тоска по родине.

Я вдруг вспомнил:

— На нью-йоркский ипподром привезли скакунов из Аравии, вы не хотели бы пойти на скачки со мной на этой неделе?

— С удовольствием, но при условии, что муж ничего не будет знать об этом. Он считает, что миссис Шилд не подобает посещать подобные зрелища.

— А как же вам удастся уйти из дому?

— Я скажу ему, что еду в оперу, мистер Шилд не любит музыки, и поэтому не поедет со мной.

— Хорошо, позвоните мне, когда вам будет угодно, и мы условимся о встрече.

Бинт-эль-Талиб тепло пожала мне руку.

3

Когда арабские кони вихрем понеслись по песчаной дорожке ипподрома, глаза дочери Талиба загорелись. Она, как замороженная, затаив дыхание, следила за их стремительным бегом.

Один из скакунов остановился прямо против нас. Казалось, его горящий, печальный взгляд, устремленный куда-то в пространство, ищет родное, далекое небо. Внезапно конь заржал. Это был крик необъятной тоски, прозвучавший как песня.

— Бинт-эль-Талиб, как похожа ваша судьба на судьбу этого скакуна, — тихо сказал я арабке.

Когда закончились скачки, она захотела пойти вместе со мной поглядеть на коней.

Нас проводили к лошадям. Арабка обняла одного из коней за шею, гладила по спине, целовала в глаза. Конь, чувствуя ласку, терся головой о ее плечи и печально смотрел на нее.

Мы покинули ипподром. Я взял такси для миссис Шилд. Взмолвленная, она с трудом прошептала:

— Благодарю вас, спокойной ночи...

— Спокойной ночи, Бинт-эль-Талиб, — сказал я и закрыл дверцу машины.

4

Через несколько дней миссис Шилд позвонила мне.

— Сегодня вечером я хочу пригласить вас к себе домой, мой муж выразил желание поближе познакомиться с вами, — сказала она. — Я была в «Константинополе» и купила кофе. Вечером сама заварю его для вас.

Я поблагодарил Бинт-эль-Талиб за приглашение и обещал прийти.

— Приходите, пожалуйста, точно, не опаздывайте.

— Когда мистер Шилд приходит домой? — спросил я.

— Обычно он бывает в семь часов.

— Хорошо, тогда я приду в шесть, если вы разрешите?

— You are so good, so good[37], — воскликнула арабка.

— А вы так ласковы со мной, — ответил я.

Еще не было шести, а я уже был на Манхеттене, спеша к дому миссис Шилд. Она сама открыла мне дверь и встала в дверях, как статуя.

Миссис Шилд была в легком длинном платье, стянутом в талии широким поясом.

— Хэлло!

— Хэлло!

Она закрыла дверь и пристально взглянула на меня. Я подошел к ней. Я был опьянен ее ароматом...

* * *

Мистер Шилд принял меня очень радушно, расспрашивал подробно о моей жизни, проявляя живой интерес ко всему, что я говорил. Это не могло не удивить меня, потому что настоящие американцы очень замкнутые люди, они редко интересуются жизнью других.

Видимо, он заметил мое удивление.

— Я долго жил на Востоке, — сказал он не без гордости, — и многому научился там.

— Неужели так долго, что восприняли наши обычаи, переняли восточные манеры?

Мистер Шилд принялся нудно, с мельчайшими подробностями, рассказывать о своих путешествиях по Востоку. Его рассказ был прерван появлением миссис Шилд, принесшей обещанный кофе в бирюзово-голубых чашках.

— Миссис Шилд, позвольте в этот вечер называть вас вашим настоящим именем.

— Пожалуйста, прошу мае.

— Бинт-эль-Талиб, это кофе — чудо, потому что оно приготовлено вашими руками.

Белые зубы арабки блеснули на смуглом лице. Мистер Шилд, видимо, остался доволен комплиментом, это было заметно по его глазам.

Он вынул из ящика письменного стола толстую пачку фотографий.

— Все эти снимки сделаны мною на Востоке.

Целых два часа мистер Шилд показывал мне фотографии, подробнейшим образом рассказывая, где и при каких обстоятельствах они были сделаны. Он показал мне даже фотоаппарат, которым снимал и который, как ни странно, был куплен не в Америке, а в Англии. Я умирал от скуки, но радушный прием, который оказал мистер Шилд, заставлял меня скрывать это, тем более что миссис Шилд взглядом просила меня быть внимательным к мужу. Обреченный на нудный разговор с мистером Шилдом, я задавал встречные вопросы, чтобы сделать ему приятное.

«Что вы говорите? Неужели вы тогда были в Каире? Сколько же времени вы там пробыли?» — и прочее в этом роде.

Особенно скучной была история пирамид, которую знает каждый школьник. Но из всего этого я заключил, что мистер Шилд не так уж глуп, а его стремления занять меня беседой я отнес за счет гостеприимства.

Я чувствовал себя в своей тарелке, ибо в этой стране, если гость неприятен, ему сразу же дают это понять, — качество, которое я высоко ценю в американцах.

Наконец в одиннадцать часов вечера я решил покинуть гостеприимный дом, порядком утомленный подчеркнутым вниманием к собственной персоне. Я в последний раз взглянул на арабку и заметил все ту же затаенную грусть в глазах.

Мистер Шилд любезно предложил подвезти меня на своем автомобиле. Напрасно я твердил, что не хочу утруждать его, он настаивал, а дочь Талиба взглядом просила меня не отказываться. Я согласился. Арабка простилась со мной в гостиной. Мы с Шилдом спустились во двор, где находился его гараж. Мистер Шилд сел за руль и повел машину. Как только мы отъехали, он умолк. Казалось, он исчерпал весь запас тем для разговоров.

Мистер Шилд гнал машину с бешеной скоростью. Я вынужден был деликатно напомнить ему нью-йоркские правила уличного движения.

— О каких правилах вы толкуете? — воскликнул вдруг он.

Голос его звучал странно, как будто говорил совсем другой человек. Он ни разу не взглянул в мою сторону. Покусывая сигару, Шилд неотрывно глядел на бегущую дорогу и прибавлял скорость. Сначала я спокойно отнесся к этому, но внезапно мне пришла в голову странная мысль: а что, если он не в своем уме?

— Мистер Шилд, зачем вам лишний раз платить штраф?

— Закон — есть закон, и нарушение его требует расплаты, — с загадочной интонацией ответил он.

Я промолчал в надежде, что сейчас нас остановит полисмен, чтобы оштрафовать, и я, пользуясь моментом, распрощаюсь с Шилдом.

— Вы хорошо знаете законы нашей страны? — сквозь зубы процедил американец после долгого молчания.

— Немного знаком.

Он нажал на тормоз, и машина со скрежетом остановилась.

«Что-то случилось с мотором», — подумал я и поспешил выйти.

Вслед за мной вышел мистер Шилд.

Мы стояли в полосе электрического света, и мистер Шилд был виден мне во весь рост. Он смотрел на меня зверем, его глаза налились кровью, зубы были стиснуты так, что щеки казались ввалившимися. Я понял, что на этом месте одного из нас ждет смерть.

В моем сердце закипел гнев, я понимал, что он считает меня чужаком, а себя истинным американцем.

— Измените свой тон! — вдруг сказал я.

— Ответьте мне, вы хорошо знаете законы этой страны?

— Я уже сказал вам, что немного знаю их.

— Немного — это недостаточно, их нужно знать хорошо. Кстати, усвойте и законы морали, — прошипел Шилд и злобно добавил: — Иначе эта штука мигом выучит вас.

Он вытащил из кармана револьвер и направил на меня.

— Я никогда не усвою вашу мораль, — сказал я.

— А я вас заставлю.

— Чего же вам надо от меня?

— Хочу, чтобы вы больше не встречались с моей женой. Мне было жаль ее, не то я пристрелил бы вас еще дома.

— И это все?

Он спрятал пистолет в карман и сказал:

— Гуд бай.

— Гуд бай.

Шилд сел в машину и уехал, а я направился пешком к станции городской железной дороги.

Неужели мистер Шилд сам себе кажется героем, думал я по пути.

5

На следующий день в десять часов утра в магазине появился мальчик, выполнявший у нас обязанности курьера, и подал мне визитную карточку хозяина фирмы. На ней было написано: «Прошу вас зайти ко мне».

— Где хозяин? — спросил я.

— В конторе.

— Спасибо.

Хозяин вежливо встретил меня и предложил сигару.

— Вы оскорбили одного из наших уважаемых клиентов, — начал он.

— Не помню, чтобы я оскорблял кого-либо из клиентов.

— Речь идет о мистере Шилде, торговце страусовыми перьями.

— Я никогда не оскорблял господина Шилда, напротив, очень внимательно обслуживал его и его жену, и они оба остались довольны предложенными мной коврами.

— Но вы хотели завести роман с его женой.

— А какое это имеет отношение к обслуживанию посетителей торгового дома?

— Дорогой мой, — директор выпрямился в кресле, — вы познакомились с миссис Шилд в отделе восточных ковров моей фирмы и обязаны оберегать установленные нами порядки.

Я сразу же решил покончить с этим разговором.

— Сэр, мне безразлично, каковы ваши порядки, своей личной жизнью я волен распоряжаться сам.

Сидящий напротив меня человек, остолбенел: вряд ли ему когда-либо доводилось слышать подобное от служащего.

— В таком случае считайте себя с этой минуты свободным.

— Как вам угодно, сэр.

Он склонил голову над блокнотом, написал что-то и протянул мне листок бумаги. Это было указание бухгалтерии выплатить мне двухнедельный заработок и еще недельный за увольнение.

— Простите, сэр, но у меня с вами договор.

Я вынул из кармана сложенную вчетверо бумагу и положил ее перед ним на стол.

— Очень необдуманно было заключать с вами такой договор, — выдавил он из себя и нажал кнопку электрического звонка.

Вошел управляющий.

— Почему вы заключили договор с этим господином на таких условиях? — спросил хозяин.

— Он большой специалист. Мы не могли принять его на других условиях, — объяснил управляющий.

— Вот как!

Хозяин был из числа тех, кто сам мало разбирается в делах, но быстро усваивает все, что касается выгоды.

Согласно договору, я получил жалованье за пять месяцев вперед и через два часа после разговора с хозяином навсегда покинул фирму.

Мной владело только одно желание — увидеть Бинт-эль-Талиб. Звонить по телефону было невозможно, трубку мог поднять Шилд.

Я поговорил с одним знакомым продавцом из магазина и попросил его ради старой дружбы сообщить мне о миссис Шилд, если она подаст о себе какую-нибудь весть.

Спустя несколько дней я встретился с арабкой в ресторане-кафе «Константинополь». Оттуда мы отправились в китайский ресторан «Чоп-суи».

Мы уединились в отдельном кабинете, Бинт-эль-Талиб рассказала мне, как была удивлена, узнав от продавца, что я уже больше не работаю в магазине. Она, оказывается, и не подозревала о моем столкновении с мистером Шилдом. Когда в ту ночь мистер Шилд вернулся домой, Бинт-эль-Талиб спросила:

— Ты довез его до дома?

Он ответил:

— Да. Какой симпатичный молодой человек!

Узнав о том, что произошло в ту ночь на самом деле, дочь Талиба возмутилась:

— А я-то думала, что нахожусь в цивилизованной стране. Так могут поступать только в Аравии, где жену считают собственностью, товаром!

— Цивилизация — это лишь внешний лоск, Бинт-эль-Талиб, и здесь и там женщина — товар, с той лишь разницей, что на Востоке женщина — товар «ручной работы», а здесь — «машинной», таким образом, на Востоке она ценится вдвое дороже.

Я попросил Бинт-эль-Талиб не говорить мужу о нашем разговоре.

Она решительно сказала:

— Я больше не считаю Шилда своим мужём, но буду молчать до тех пор, пока не уйду от него.

Затем ее взгляд смягчился. Передо мной снова была добрая и нежная восточная женщина.

— Ты оазис для меня в этой пустыне, — прошептала она.

— А ты — освежающий родник в этом оазисе.

Наши руки сплелись, как ветви деревьев в саду...

6

Арабка каждый раз мрачнела, когда надо было возвращаться под кров продавца страусовых перьев.

Однажды она сказала:

— Мне кажется, что нашу землю освещает не одно и то же солнце, придет время, и ученые докажут, что на Востоке светит одно солнце, на Западе — другое.

— Нет, Бинт-эль-Талиб, повсюду светит одно солнце, это сама жизнь меняет его. Например, социалистическое общество делает солнце более теплым и ярким. Ведь когда смотришь на солнце из переулка, оно светит не так ярко, как в поле.

Арабка не соглашалась со мной и твердила свое, как ребенок.

Когда она уходила, на сердце становилось пусто и темно, но стоило ей появиться опять в назначенное время, вновь наступал рассвет и лучи солнца заливали горизонт.

Однажды, к моему удивлению, арабка пришла на свидание с саквояжем в руках. Она печально смотрела на меня, и я заметил в ней какое-то волнение. Затем она, немного успокоившись, взяла меня за руку и сказала:

— Ты никогда не опаздывал, но сегодня я очень боялась, что ты можешь не прийти.

— Что-нибудь случилось, Бинт-эль-Талиб?

— Я уезжаю.

— Куда?

— В Аравию.

Я принял это за шутку.

— Ах ты мой маленький арабский скакунок.

— Это не шутка, я действительно, уезжаю, билет в кармане. Идем, ты должен мне помочь в одном деле.

На все мои уговоры бросить мистера Шилда и остаться в Америке арабка отвечала отказом.

— Я не останусь в этой стране, — решительно говорила она.

Мы отправились в ломбард.

— Я взяла с собой один из своих бриллиантов и несколько платьев, чтобы заложить их и добраться до Аравии. Все остальное оставила Шилду.

Бинт-эль-Талиб с облегчением сняла с пальца кольцо и положила его перед ювелиром. Тот осмотрел бриллиант в лупу, взвесил его и, сняв очки, сказал:

— Тысяча долларов, срок хранения шесть месяцев.

— А если я хочу продать его? — спросила арабка.

Хитрый торговец снова одел очки, еще раз осмотрел кольцо, взвесил камень и ответил:

— 1500 долларов.

— Хорошо, я согласна, — тут же сказала Бинт-эль-Талиб.

Ювелир еще раз внимательно осмотрел кольцо, открыл кассу и отсчитал полторы тысячи долларов.

Прямо из ломбарда мы направились в порт. Бинт-эль-Талиб должна была уехать на французском теплоходе «Ла Турин».

Когда вдали показалось море, глаза арабки заблестели. Она была оживленна. Ее воображению рисовались далекие счастливые картины. Арабка посмотрела на меня сквозь набежавшие слезы и прошептала:

— Прощай.

— Прощай, Бинт-эль-Талиб, привет от меня Востоку.

* * *

Теплоход разрезал голубые волны Атлантики, унося Бинт-эль-Талиб на Восток.

А в это время мистер Шилд в большом магазине на Бродвее сбывал покупателям страусовые перья, не ведая о том, что самый ценный «товар», каким он владел, уплывал из его рук, и уплывал навсегда.

2. «Божественная комедия»

Перевод Р. Григоряна

Управляющий фирмой положил телефонную трубку и сказал мне:

— Сейчас же отправляйтесь к мистеру Финклстайну, осмотрите там восточные ковры, которые нуждаются в чистке и реставрации.

— Хорошо, — ответил я.

Мне, специалисту по восточным коврам, приходилось бывать во многих богатых домах Америки, но у мистера Финклстайна, известного американского миллионера, я еще не был.

Особняк Финклстайна находился в аристократическом квартале, на самой вершине холма. Он утопал в зелени густых деревьев, кронам которых умелые руки садовника придали строго очерченную форму.

Не успел я войти в парк, как передо мной выросли два негра, охранявшие ворота. Я предъявил им карточку фирмы, и они пропустили меня. У входа в дом меня встретила молодая, красивая женщина. Белый передник и наколка на голове говорили о том, что она служанка. Я сказал ей о цели моего посещения. Молодая женщина проводила меня в гостиную, предложила сесть и, взяв мою карточку, удалилась.

Обстановка гостиной была богатая и в то же время простая. На видном месте стоял мраморный бюст мистера Финклстайна. У него было совсем молодое лицо.

Либо этот бюст был сделан еще в молодости мистера Финклстайна, либо он потребовал, чтобы скульптор изобразил его молодым, подумал я.

В камине сложена была горка поленьев. Все поленья одинакового размера, а за ними горела красная электрическая лампочка, создававшая впечатление пылающего очага. Из окон гостиной, сквозь листья деревьев, виднелись бушующее море и крыша соседнего особняка.

«Откуда взялось море в нашем городе?» — удивился я.

Вглядевшись внимательно, я увидел, что волны неподвижны, — это была лишь декорация, нарисованный пейзаж.

Темно-красные портьеры в глубине гостиной раздвинулись, вошла старая, очень просто одетая дама с бледным, восковым лицом. Море за окном заставило меня на минуту подумать, что вошедшая — тоже часть декорации, настолько неподвижны были все ее черты. Но женщина заговорила:

— Вы пришли за коврами?

— Да, мадам, — ответил я вставая.

— Идемте, я покажу их.

Я последовал за ней. Она ввела меня в библиотеку, показала ковры и попросила вычистить.

— Хорошо, — ответил я машинально: внимание мое приковали книжные полки. Здесь была собрана, казалось, вся мировая литература; книги в позолоченных переплетах, подобранные в определенном порядке. Так, все произведения классической греческой литературы стояли вдоль восточной стены зала, в голубых, как небо Греции, переплетах.

Впервые в жизни я позавидовал богачам. Книги — мечта моей жизни. «А что, если попросить разрешения полистать хоть одну из них?» — подумал я. Но хозяйки уже не было.

Я вышел вслед за ней и отправился за машиной для перевозки ковров.

Я твердо решил: как только вернусь, попрошу разрешения хотя бы заглянуть в большой том «Божественной комедии» Данте, на котором крупными буквами было написано «Королевское издание». Я давно слышал, что существует уникальное издание «Божественной комедии».

«Несомненно, это то самое издание», — подумал я.

Когда я вторично оказался в особняке мистера Финклстайна, меня, как прежде, встретила красивая служанка.

— Как у вас тихо, — сказал я ей, чтобы завязать разговор.

— Да, тихо и очень скучно, — ответила она.

— Скучно? Что вы, здесь так уютно.

— В этом огромном доме живут только мадам и ее муж, мистер Финклстайн, больше никого. И работы здесь очень мало. В мои обязанности входит встречать и провожать гостей. В доме нет кухни, обед нам привозят готовый. Иногда мне кажется, что лучше остаться без работы, но быть среди людей.

— А вы читайте, — сказал я, — читайте. Вот если бы у меня было время и столько книг!..

— Да, я так и делаю, — сказала служанка. — Я только что закончила последний том из серии синих книжек, хотите взглянуть?

— Синие книжки, о нет! — ответил я и взял ее за руку. Девушка не отняла ее.

— У меня к вам просьба.

— Я охотно ее исполню. — На ее лице появилась радостная улыбка.

— Подождите немного, я соберу ковры и тогда осмелюсь высказать вам свою просьбу.

Когда негр уложил ковры в машину, я вернулся к служанке.

— Милая леди, — сказал я, — позвольте мне посмотреть «Божественную комедию».

Служанка сперва удивленно посмотрела на меня, а потом громко рассмеялась.

— Пожалуйста, прошу вас.

Не обращая внимания на нее, я быстро снял с полки «королевский» том. Он был очень легкий. Я хотел раскрыть его, но не мог. Служанка продолжала хохотать.

В бешенстве я швырнул «Данте» на пол.

— Все эти книги склеены из картона, — сказала она, — лучше возьмите у меня почитать «синюю книжку».

— Спасибо, — ответил я и пошел к выходу.

В коридоре еще слышался смех девушки.

3. Назад, в страшный город

Перевод Р. Григоряна

Наш теплоход стоит на Шербургском рейде далеко от берега. Ночью, когда густые и мрачные тени ложатся на поверхность воды, теплоход светится, как огромный костер во мраке пустыни.

В декабре океан грозен: то он рыча перекачивает громадные волны, то со стоном швыряет их в ночную бездну. Его могучий рев ошеломительно ритмичен. Это — песнь океана. Вот убрали трап, подняли шлюпки, которые белыми птицами уселись на борту корабля. Начинает скрипеть лебедка — поднимают якоря. Море за кормой пенится. Корабль, сверкающий множеством огней, плавно скользит по волнам.

Океан беснуется за бортом, а в ресторане спокойно ужинают. Однако волнение усиливается, и пассажиры, не выдержав качки, один за другим покидают столы.

Я спустился в каюту, где, кроме меня, было еще трое пассажиров. Мои соседи лежали на своих узких койках, отдыхали. Один из них немигающими глазами смотрел в иллюминатор.

«Это либо грек, либо армянин», — подумал я и заговорил с ним по-английски, незнакомец ответил мне тоже по-английски, но произношение было нечистое.

«Грек», — решил я.

— Скажите, а турецкий вы знаете?

— Знаю, но говорить не хочу, — сердито ответил он.

Я промолчал. «До чего нетерпимы стали греки, — думал я. — Чего они хотят, чего добиваются, откуда взялось у них это высокомерие?»

— Может быть, вы думаете, мне приятней говорить по-гречески? — прервав молчание, обратился он ко мне.

— Право, не знаю.

— Нет, приятель, нет. В крайнем случае, я буду говорить по-турецки, но по-гречески — никогда.

Моему собеседнику на вид лет пятьдесят. У него обгоревшие ресницы и следы ожогов на лице, изборожденном морщинами, как вспаханное поле.

Лицо и особенно руки его были в рубцах и мозолях, и весь его облик казался олицетворением тяжких мук. Вероятно, поэтому сразу он производил впечатление очень доброго человека, хоть и говорил резко. Когда мой собеседник поднялся и стал расхаживать по каюте, я заметил, что он сильно горбится. Казалось, его пригнула тяжелая ноша к земле.

— Да, по-гречески я никогда не стану говорить, — повторил он.

Я удивленно, посмотрел на него.

— Лучше всего вообще ни на каком языке не говорить, — отозвался другой пассажир, лежавший на верхней койке.

— Да, уж лучше совсем не говорить, чтобы случайно не вырвалось какое-нибудь греческое слово, — с раздражением ответил первый.

— Но известно ли вам, что во всех европейских языках много греческих слов, — примирительно сказал я, желая как-то успокоить своего попутчика.

— Пропади они пропадом все эти языки, и английский, и все другие, — рассердился грек и, прикурив, бросил на пол обгоревшую спичку.

— Оставьте в покое мой язык! — внезапно вмешался в спор четвертый пассажир.

Судя по всему, это был англичанин, и поэтому казалось странным, что его тронул столь незначительный спор.

Как бы то ни было, через час мы играли в карты и мирно беседовали.

Человек со следами ожогов на лице оказался действительно греком, его звали Продобоболос, но он слегка заикался и произнес свою фамилию «Продобоболос». Так мы и стали его называть. Второй пассажир был тоже греком, его звали Балтачис, а третий — тот, которого я принял за англичанина, — оказался ирландцем. Фамилия его была Бремер.

В разгар игры Бремер вдруг взглянул на часы, извинился и стал куда-то поспешно собираться.

— Я скоро вернусь, пойду только накормлю своих дам, — сказал он.

Балтачис остановил его:

— Пожалуй, я тоже пойду взгляну на них.

— Хорошо, пойдемте, — согласился ирландец, и они вместе вышли из каюты.

Я и Продобоболос удивленно переглянулись.

— Любопытно, что это за дамы? — спросил я.

— Кто его знает, возможно, он везет из Европы проституток: в Америке француженки нынче в моде. А такие мошенники не брезгают никакими средствами, чтобы делать деньги.

Я не успел прийти в себя от удивления, как Бремер и Балтачис уже вернулись в каюту.

— Они очаровательны, — сказал Балтачис, усаживаясь на свое место, — где вы их отыскиали?

— Во Франции, — ответил Бремер. — Они очень дорого стоят, — не знаю, повезет ли мне с ними в Америке. Слишком уж разорительны расходы.

— Продолжим игру, — предложил Балтачис.

Я молча наблюдал за Продобоболосом. Его распирало от возмущения. Наконец он взорвался:

— Я отказываюсь играть с торговцами живым товаром! Утром же попрошу капитана перевести меня в другую каюту.

— В чем дело? — удивился Балтачис.

— Это же гнусно — наживать деньги на торговле женщинами. Я не желаю находиться рядом с человеком, который занимается такими грязными делами, — горячился Продобоболос.

— Не понимаю, о чем вы говорите? Какие женщины?

— Я говорю о дамах, которых этот человек переправляет в Америку.

Балтачис и Бремер переглянулись, а потом оглушительно, во всю мощь своих легких, захохотали.

Бремер, давась от смеха, еле выговаривая слова, объяснил ему, что «дамы» — это собачки, которых он везет в Америку, чтобы скрестить с американскими породами.

Продобоболос сразу осекся, смущенно заулыбался и стал просить прощения.

— Ничего, ничего, — отвечал Бремер, — все в порядке, вы мне нравитесь, и я рад, что познакомился с вами.

Все снова сели на места, игра возобновилась.

Внезапно с палубы донесся какой-то шум. Из соседних кают стали выбегать люди. Мы тоже поднялись с мест. Навстречу по коридору неслись пассажиры с искаженными от страха лицами. Кто-то кричал:

— Бегите, спасайтесь!..

В панике люди бросились на палубу. Но куда они могли убежать — кругом открытое море...

Надо было найти кого-нибудь из матросов, узнать, действительно ли нам грозит опасность.

Я поднялся по лестнице на палубу. Меня как будто хлестнули сотней мягких плеток, одежда сразу промокла. На борт хлынули потоки воды.

Я подумал, что в момент опасности лучше находиться на палубе, чем в каютах с наглухо завинченными иллюминаторами.

Вода сбежала, и я успел крепко вцепиться в железные поручни, спасаясь от новой волны.

Мимо меня прошли несколько матросов. На их лицах я не заметил никаких признаков тревоги: все они были спокойны, сдержанны. Впрочем, как знать, может быть, так ведут себя люди, привыкшие иметь дело с грозной морской стихией.

В несколько минут матросы успели закрыть все двери, ведущие в нижние помещения.

Спускаться вниз было уже поздно, я остался на палубе. К рассвету океан разбушевался с неимоверной силой, со всех сторон вздымались высокие гребни ревущих волн. Над пенящейся, мутной водой нависли свинцовые тучи. Наш теплоход, как разъяренное животное, метался в разные стороны, то, захлебываясь, погружался кормой в волну, то, подхваченный лавиной воды, поднимался вверх.

Вся команда была на местах: одни на палубе, другие у штурвала, третьи на мостике, у якоря. Словно единый слаженный механизм действовали моряки — эти укротители грозного океана. Как они не походили на тружеников земли! В их движениях — ни тени медлительности, им неведомо чувство страха перед стихией.

Они укрощали грозную силу океана, пожалуй, так же, как труженики земли укрощают разъяренного быка, не видевшего всю зиму солнечного света.

Но если труженики земли прячутся в своих жилищах и ждут, чтобы стихия уgomонилась, выдохлась, моряки именно в такие минуты, когда она безумствует, вступают с ней в единоборство.

Жизнь, полная опасностей, наложила свой отпечаток на их лица, сделала взгляд жестким и суровым...

Постепенно океан стих, вода снова стала голубой, тучи посветлели, поднялись вверх и рассеялись.

Матросы распахнули настежь палубные люки.

Я спустился вниз, чтобы сменить мокрую одежду. Вслед за мной в каюту вошел Продобоболос.

— А мы уже решили, что вас смыло волной, — воскликнул он, — и очень огорчились. Собирались даже произвести опись вашего имущества. Хорошо, что вы остались живы. Давайте играть в карты.

— Пожалуй, вы правы. Вам действительно не с кем было бы доигрывать последнюю партию.

Бремера не было в каюте. Видимо, он отправился к своим «дамам», вой которых иногда доносился из трюма.

Я и Продобоболос снова поднялись на палубу. Океан уже успокоился. Солнце щедро разбрасывало по его поверхности яркие лучи, что редко бывает в суровые декабрьские дни. Лениво колыхающаяся вода вспыхивала алмазами и, поблескивая, слепила глаза.

Большие рыбыны высывались из воды, подпрыгивали, описывая в воздухе дугу, и снова исчезали в голубой пучине.

Теплоход сверкал белизной, как протертое стекло. Он отмылся во время бури и сейчас, спокойно раскачиваясь, скользил по тихой глади океана.

— Смотрите, какая белая дорожка тянется за нами, — сказал я Продобоболосу.

— За теплоходом?

— Да.

— Я никогда не стану смотреть назад, — резко ответил он.

— Почему?

— Потому, что сзади осталась Греция, а я даже взглядом не хочу возвращаться туда.

— Не могу понять, почему вы так ненавидите Грецию. Это же ваша родина, колыбель искусств и философии.

— Гм... Искусство, философия? — усмехнулся Продобоболос. — Какая там колыбель, какое искусство! Шайка бандитов, во главе с Венизелосом и царем Константином. Больше ничего.

— Почему вы на нее так сердиты?

— Пойдемте лучше играть в карты.

На мостике к нам присоединились Бремер и Балтачис. Мы спустились в каюту и снова принялись за карты.

Во время игры между Бремером и Продобоболосом вспыхнула ссора.

— Вы сказали «пас», — настаивал грек.

— Я этого не говорил, — горячился ирландец.

— Вы обманщик, — закричал Продобоболос.

Ирландец схватил графин и запустил бы им в голову грека, если бы мы с Балтачисом не удержали его. Оказалось, во всем был виноват Балтачис, это он сказал «пас».

Продобоболос растерянно улыбнулся и протянул руку Бремеру:

— Простите меня, брат мой.

Ирландец с готовностью пожал руку.

— Ладно, продолжим игру, — сказал он.

Речь снова зашла о Греции, и Балтачис стал поддразнивать Продобоболоса.

— Кто вы такой, чтобы знать цену Греции, цену нашей великой родине?

— О! Я-то хорошо знаю цену нашей родине, — ответил Продобоболос и бросил на стол короля, — мне этот карточный «король» дороже, чем царствующий ныне Константин.

— Послушайте, вы переходите границы дозволенного!

— А вы их уже давно перешли. Замолчите, иначе я не ручаюсь за себя!

— Вы оскорбляете меня.

— Плевать мне на вас и вашего короля! — закричал Продобоболос и сплюнул на пол.

Балтачис взял трость, лежавшую на койке, а Продобоболос, схватив противника за шиворот, потянулся к к графину. Мы с Бремером с трудом разняли их.

— Если вы будете продолжать так себя вести, — сказал Бремер, — мы попросимся в другую каюту. С вами невозможно жить.

Греки притихли.

— Мне кажется, что Продобоболос не имел права переводить разговор на личности, — сказал я.

— В том-то и дело, — обиженно проговорил Балтачис, — пусть говорит что угодно, но не задевает моего достоинства.

Продобоболос молча уставился на своего соотечественника. Глаза его стали грустными и виноватыми.

— Вы должны простить меня, дорогой Балтачис, — сказал он, — я имел в виду только царя и бывшего премьера.

— Я не могу простить вас.

Бремер возмутился:

— Вы не хотите простить Продобоболоса! Этого замечательного человека! Значит, он был прав, когда ругал вас и вашего короля.

— Прошу вас, не ссорьтесь. Не простил сегодня, простит завтра, — сказал Продобоболос.

— Удивляюсь вам, — сказал я Балтачису.

В каюте воцарилось тягостное молчание.

— Я еще раз прошу прощения, — тихо сказал Продобоболос.

Балтачис смущенно, не поднимая голову, протянул руку своему недавнему противнику. Играть мы больше не стали. Улеглись на койки, которые мерно раскачивались в такт движению корабля.

Спустя несколько дней, вечером, в коридоре раздался голос:

— Виден Нью-Йорк!

Все бросились наверх. Огромный город светился миллиардами электрических огней.

Крыши нью-йоркских небоскребов упирались в мрачные декабрьские тучи. Корабль быстро приближался к порту. Мы проплывали мимо статуи Свободы. Этот громадный монумент, изображающий женщину с факелом в руке, обращен лицом к Европе, он защищает царство доллара, железа, стали, угля, золота и порока.

Ничто в мире не отражает столь явственно все лицемерие и ложь капитализма, как статуя Свободы.

Когда теплоход вошел в порт, нас ошеломил мощный гул машин, похожий на глухое рычание диких зверей, вцепившихся друг в друга.

Продобоболос стоял рядом со мной и беззвучно плакал. Слезы, капля за каплей, текли по его морщинистому лицу. Он дрожал, как испуганный ребенок, который, однако, не хочет, чтобы взрослые заметили его страх.

— Что случилось, почему вы плачете?

— Случилось страшное. — Грек взял меня под руку и подвел к борту корабля, где нас никто не мог слышать. — Я прожил двадцать семь лет в этом страшном городе, — начал он. — Впервые я приехал в Америку еще юношей. Мои родители умерли, и на родине у меня оставалась только замужняя сестра. Двадцать семь лет назад я приехал в Нью-Йорк, имея много долгов и никаких знакомых, не зная ни одного английского слова.

Первую работу я нашел в конторе, которая занималась развозкой льда, и прослужил там шесть лет. Каждое утро я вставал на рассвете, катал тележку по улицам, вытаскивал из нее железными щипцами большие куски льда, взваливал их себе на плечи, как восточный

кули, и ташил в дом. Надо было до полудня развезти весь лед жителям города. Я получал шесть долларов в неделю. Большую часть из них откладывал на погашение долга и существовал на те гроши, которые оставались.

Я жил хуже скотины: ютился в подвале и по много дней не видел горячей пищи. За шесть лет работы в компании по доставке льда мой заработок увеличился только на пятьдесят центов. Однажды я проснулся среди ночи и почувствовал, что не смогу выйти на работу. Не мог даже одеться — так болело все тело. Я пролежал в подвале целых десять дней. Когда, выздоровев, вернулся на работу, оказалось, что меня уже вычеркнули из списка служащих.

Несколько недель я скитался без работы и наконец устроился на металлургический завод. Я чувствовал себя счастливым. Работа была во много раз тяжелее, зато платили втрое больше.

Двадцать один год я простоял у раскаленной печи, плавящей металл. Лицо и руки обгорели так, словно я полвека работал под палящим южным солнцем. За эти годы я скопил три тысячи долларов и решил вернуться на родину, чтобы построить свой собственный домик и дожить свой век в тиши и спокойствии. Я вернулся в свое родное село. Мало кто помнил меня — ведь прошло столько лет! Многие советовали мне купить небольшой участок и так же, как мой отец, заняться земледелием. Но я слишком устал за эти годы и желал только одного — покоя. Все накопленные в Америке деньги я отвез в город и положил в банк, надеясь найти легкую работу и спокойно жить на проценты от вклада. Как маленький, я радовался тому, что больше не услышу утром заводского гудка. Но не прошло и двух месяцев, как началась эта проклятая греко-турецкая война. Все перевернулось вверх дном. Цены на продукты поднялись, драхма обесценилась. Плоды моего двадцатисемилетнего каторжного труда в один день пошли насмарку, я стал таким же бедняком, каким был до отъезда в Америку.

Вот почему я ненавижу Грецию, родину философов. Эта война была нужна богачам. Они наживались на ней.

И вот я снова возвращаюсь в этот страшный город, чтобы провести у раскаленной печи остаток своей жизни... Сейчас в этом грохоте машин, мне чудится скрип костей тех, кого погубил Нью-Йорк.

В воспаленных, с обгоревшими ресницами глазах Продобоболоса был ужас, губы его вздрагивали. Мы пришвартовывались. Матросы спускали трап.

Пассажиры покидали корабль. После всех формальностей в таможне Продобоболос подошел ко мне и, пожимая мне руку, сказал:

— Прощайте, кто знает, увидимся ли мы еще.

Балтачис и Бремер провожали нас шутками...

Я смотрел вслед Продобоболосу, пока он не затерялся в уличной сутолоке города-спрута.

4. Расходы за неделю

Перевод Р. Григоряна

Мистер Коллинз вошел в нью-йоркский отель «Уолдорф-Астория» и снял номер на неделю. В холле к нему подошла красивая женщина в черном шелковом платье.

За сорок лет торговой деятельности и двадцать пять лет семейной жизни Коллинз знал только два дома: огромное тринадцатизэтажное здание своей фирмы, где работало более тысячи человек, и особняк, где жила его семья — супруга и дети.

Мистеру Коллинзу было более шестидесяти лет. Ловким молодым человеком он начал свою карьеру, работал диспетчером на железной дороге с недельным заработком и четыре доллара, а потом так преуспел, что стал хозяином крупной фирмы. На это ушло сорок лет жизни, в которой не было места ни цветам, ни женщинам.

— Чем могу быть полезен? — спросил мистер Коллинз красивую женщину, взявшую его под руку, и почувствовал вдруг волнение, которого давно не испытывал.

— Ничем, — проворковала она, — я просто хочу познакомиться с вами. Мой покойный муж тоже был коммерсант.

После минутного колебания мистер Коллинз смерил взглядом стройную высокую незнакомку и улыбнулся.

— Выйдем на улицу, — предложил он.

— Пожалуйста, — ответила она.

Пока закрытая машина неслась по набережной Гудзона, мистер Коллинз и его спутница не обменялись ни единым словом: женщина лежала в объятиях пожилого коммерсанта, прильнув к нему всем телом.

По возвращении в отель «Уолдорф-Астория» мистер Коллинз записал в книге для приезжих: «Господин и госпожа Коллинз».

Они поднялись в номер.

Через два часа мистер Коллинз спустился в холл и, как всегда, подал жене телеграмму:

«Здоров, вернусь через неделю, как кончу дела.

Нежно целую, Уолдо».

Он сам отнес бланк в почтовое отделение, помещавшееся напротив, чтобы служащие отеля не узнали, кому адресована телеграмма.

Переодевшись, новая знакомая мистера Коллинза, звали ее миссис Чепмен, спустилась в холл и, бросив беглый взгляд на управляющего, вышла на улицу, села в машину и мгновенно затерялась в огромном городе.

А мистер Коллинз, отправив телеграмму, поспешил по делам. Предстояло закупить у разных нью-йоркских фирм товаров более, чем на два миллиона долларов. Сначала он отправился в контору фирмы «Уоллорт», где собирался заключить сделку на поставку большой партии товаров. Однако миссис Чепмен не выходила из головы, в ушах звучал ее голос, так хотелось вернуться поскорее к ней, но дела... привычка взяла верх.

По заранее намеченному плану в этот день ему следовало посетить еще три фирмы.

Машина миссис Чепмен остановилась перед виллой на берегу Гудзона, ворота открылись и пропустили ее под чугунные дугообразные своды. Машина подкатила к большим дверям виллы, которые два негра широко открыли, и миссис Чепмен поднялась прямо в спальню мистера Хопкинса.

Мистер Хопкинс — старый капиталист. Отойдя от торговых дел, он поселился в этом роскошном, загородном особняке, откуда не выезжал круглый год.

Жену и детей он отправил на курорт в немецкий город Висбаден, а сам остался в одиночестве, на вилле, тщетно борясь с давно мучившей его бессонницей. Миссис Чепмен ежедневно приезжала к нему на два часа. Иногда она растирала спиртом сухое, немощное тело, иногда поглаживала, массировала голову, и он засыпал — большего старику не нужно было. По истечении двух часов миссис Чепмен, утомленная, бесшумно поднималась, брала со стола чек на тысячу долларов и тихо, стараясь не нарушить сон мистера Хопкинса, удалялась.

Мистер Хопкинс сообщал жене через секретаря, что врачам наконец удалось найти для неге лекарство от бессонницы. Последнее время он хорошо спит.

Когда миссис Чепмен вернулась в отель «Уолдорф-Астория», мистер Коллинз уже давно ждал ее, обеспокоенный ее отсутствием. Он обнял молодую женщину, и до полуночи они не смыкали глаз.

Миссис Чепмен восстановила сон мистера Хопкинса и лишила сна мистера Коллинза.

Спустя неделю мистер Коллинз сообщил ей, что закончил все дела и должен ехать обратно.

Она ничего не ответила, но мистер Коллинз заметил две слезинки в ее больших черных глазах. Он обещал ей в скором времени вырваться, под предлогом торговых дел, приехать и провести с ней еще несколько дней и попросил ее адрес.

— Адрес не нужен, — ответила миссис Чепмен, — если вы приедете в Нью-Йорк, я об этом буду знать.

Коллинз не настаивал. Она была права: нью-йоркские газеты печатали его портреты и сообщали о предстоящем его приезде за два дня.

Миссис Чепмен попрощалась с ним и уехала из отеля.

Мистер Коллинз сложил в свой небольшой чемодан белье, галстуки, носки, платки, деловые бумаги и нажал кнопку звонка. Перед ним стал слуга-негр.

— Снеси чемодан вниз.

— Слушаюсь, — ответил негр и вышел.

Через несколько минут мистер Коллинз спустился вниз и попросил счет.

Управляющий, улыбаясь, подал ему счет на двадцать пять тысяч долларов.

Мистер Коллинз поразился: двадцать пять тысяч долларов? За неделю?!

— Прошу вас представить точный счет всех моих расходов, — повелительно сказал он.

Управляющий вынул ему чеки, подписанные «миссис Коллинз».

Так вот на какие деньги покупала его обворожительная знакомая бриллиантовые ожерелья и дорогие платья!

Мистер Коллинз хотел было сказать, что эта женщина вовсе не его жена, но вспомнил, что сам записал в книге: «Господин и госпожа Коллинз».

Он на миг прикусил губу, достал из кармана чековую книжку и, выписав чек на двадцать пять тысяч долларов, покинул гостиницу.

Управляющий тут же поднял трубку телефона и позвонил Дороти Чепмен:

— Хелло, Дороти! Старый дурак уехал. Чек у меня в кармане!

И разразился долгим лающим смехом.

5. Два пожара

Перевод Р. Григоряна

1

Я снимал комнату в доме мистера Ригза. Мой хозяин принадлежал к той категории людей, которые от природы очень глупы, но сами об этом не подозревают.

Мистер Ригз — кругленький, толстый, румяный человечек, миссис же Ригз — полная противоположность мужу — длинная, худая, с крупными, торчащими вперед зубами.

Мистер Ригз — южанин, его отец когда-то служил офицером в южной армии, потерпевшей жестокое поражение в гражданской войне Севера с Югом. Все эти восемь месяцев, которые я прожил в доме мистера Ригза, мой хозяин говорил только об одном — об отце, его героических деяниях, огромных плантациях, а также о том, какой урон нанесла гражданская война их хозяйству. Когда мистер Ригз подходил к концу своего повествования, его голос начинал дрожать — он вновь искренне переживал трагедию семьи. Черта эта весьма характерна для людей, относящихся с пренебрежением к труду и постоянно мечтающих о богатом наследстве. Меня всегда особенно забавляла заключительная часть рассказа Ригза, потому что в этот момент миссис Ригз со слезами на глазах подходила к мужу, чтобы поцеловать его, хотя ей этого никогда не удавалось сделать, ибо губы миссис Ригз были слишком тонки, они сразу же обнажали зубы.

Я нарочно, по всякому поводу заставлял его рассказывать эту историю, причем интересовался такими подробностями, которые приводили мистера Ригза в необычайное возбуждение, и он без умолку говорил и даже рылся в письмах, чтобы уточнить, когда именно произошло то или иное событие. Он буквально упивался собственным красноречием и поэтому не замечал, что я просто посмеиваюсь над ним. Потом мистер Ригз рассказывал, какие кушанья любил его отец. Среди них особо выделялся приготовленный из капусты суп, запах которого пропитывал даже одежду.

— Какой утонченный вкус был у него, — поспешил однажды вставить я.

Миссис Ригз склонила голову набок, с умилением посмотрела на мужа.

Впоследствии мне не раз пришлось пожалеть об этом. Ибо миссис Ригз три раза в неделю потчевала меня этим самым капустным супом.

Мистер Ригз хвалил свою супругу за чуткое отношение ко мне и добрую память о его отце.

2

Однажды утром, во время завтрака, рядом с нашим домом остановилась грузовая машина; она фыркнула, вздохнула и умолкла. Мистер Ригз, чтобы узнать, не к ним ли приехала машина, выглянул в окно. На мгновение он застыл на месте, затем повернулся и с глупейшим выражением на лице уставился на жену. Миссис Ригз, которая постоянно следила за каждым движением супруга, ища в нем проявления логической осмысленности, остановилась как вкопанная. На этот раз я «уловил» в глазах мистера Ригза нечто похожее на мысль.

— Черт... — сумел он вымолвить только и опустил на стул.

— Что случилось? — воскликнула миссис Ригз, оскалив зубы.

Я хоть и подошел к окну, но не мог сразу понять, что, собственно, произошло. И только когда вслед за мной миссис Ригз выглянула в окно и, вскрикнув «ах», ударилась в слезы, мне все стало понятно.

Грузовик привез негритянскую семью. В соседний дом уже вносили мебель.

Вот что оскорбило южноамериканских аристократов. Их соседями будут чернокожие!

Заметив, что жене дурно, мистер Ригз подбежал к шкафу, достал капли, засуетился вокруг нее.

— Не волнуйся, дорогая, вероятно, перепутали адрес. Это какое-то недоразумение.

Миссис Ригз, привыкшая верить каждому слову мужа, стала успокаиваться.

— Я сейчас же пойду туда и все выясню, — сказал хозяин и вышел из комнаты, даже не допив кофе.

— Как вы думаете, неграм разрешат жить в нашем квартале? — обратилась ко мне миссис Ригз после ухода мужа.

— Насколько мне известно, в американской конституции нет пункта о расовых привилегиях.

Я никогда не жил в Южных Штатах, которые вели когда-то войну за сохранение рабства негров, поэтому мне была непонятна психология этих южноамериканских аристократов.

Миссис Ригз удалилась, не дав мне договорить, сочтя более приличным не выслушивать меня вовсе, чем грубить. В это время в комнату вбежал бледный хозяин.

— К сожалению, адрес не перепутан, но я сию же минуту пойду к адвокату и постараюсь уладить это дело. Я не позволю, чтобы они хоть одну ночь были моими соседями.

Мы вместе с мистером Ригзом вышли из дому. Я отправился на службу, он — к адвокату. Вечером, когда я вернулся домой, вопрос был окончательно решен: закон не давал права никому выгонять чернокожего из его собственной квартиры.

У меня не было желания разговаривать с моими хозяевами. Я ушел к себе, оставив супругов наедине с их несчастьем, и принялся читать «Доктора Фауста» Марло.

С этого дня я почувствовал отвращение к Ригзам. Их разговоры стали для меня невыносимы, я встречался со своими хозяевами только за завтраком и ужином, стараясь не задавать лишних вопросов. Между тем они постоянно возвращались к этой теме, говорили об «ужасной» семье, поселившейся рядом с ними.

— Не для того воевал мой отец, чтобы черномазый стал соседом его сына, — ворчал мистер Ригз.

Но однажды чаша моего терпения переполнилась, и я не выдержал:

— Мистер Ригз, ваш отец действительно воевал для того, чтобы чернокожий не смел быть вашим соседом. Но в том то и дело, что он войну проиграл, стало быть, чернокожий может стать вашим соседом.

— Неумная острота, — закричал мистер Ригз и встал из-за стола.

Я, закончив ужин, ушел в свою комнату и в ответ на эту грубость решил бойкотировать моих хозяев. Утром я не вышел к завтраку, вечером поужинал в ресторане.

На следующее утро мистер Ригз, улыбаясь, вошел ко мне в комнату и сказал:

— Миссис считает, что я был с вами невежлив. Если это так, прошу прощения.

— Миссис правильно считает, я вам прощаю.

— Значит, сегодня вы выйдете к завтраку?

— Нет, — ответил я, — врач рекомендовал мне восточную кухню, и я сожалею, но вынужден отказаться от ваших услуг.

Мистер Ригз удалился расстроенным.

3

Однажды вечером, возвращаясь домой, я увидел у дверей нашего дома чернокожего соседа. В полутьме его глаза светились подобно горящей спичке в ночи, у него были толстые, чуть выпяченные красные губы и белые, как снег на вершинах гор, зубы.

Я остановился. Но негр отвернулся, чтобы не вынуждать меня здороваться с ним.

— Здравствуйте, — сказал я.

Он тотчас же обернулся и удивленно ответил на приветствие.

— Как поживаете?

— Очень хорошо, — ответил он с выговором, свойственным неграм. — А вы?

— Как вы устроились на новой квартире? — спросил я.

Негр, не ответив на мой вопрос, продолжал:

— Вы, наверное, не с юга?

— Ни с юга и ни с севера, — я с Востока.

— О!.. — был ответ чернокожего.

— Вам не грозит выселение из квартиры? — спросил я.

— По закону этого никто не может сделать, но миссис Ригз не признает законы.

— Почему?

— Она даже не разрешает моим детям играть во дворе, а если случайно они коснутся ее на улице, миссис злобно кричит: «Убирайтесь вон, вы пачкаете платье», — и брезгливо морщится.

Я ничего не ответил, пожелал мистеру Букеру спокойной ночи и ушел.

Поднявшись к себе в комнату, я выглянул в окно. Мистер Букер, изумленный, стоял на том же месте. Вся его фигура выражала признательность и расположение, он, видно, был глубоко благодарен за внимание, которое я ему оказал.

Спустя несколько дней я встретил на улице миссис Букер с двумя детьми. Я поздоровался с ней так, как будто мы были уже давно знакомы.

— Здравствуйте, — не смутившись, ответила миссис Букер с искренним радушием. Двое ее малышей, обняв колени матери, не отрываясь, смотрели на меня черными, как арбузные семечки, глазами. Они удивленно разглядывали белого человека, который, улыбаясь, разговаривал с их матерью. Я подошел к одному из них, ласково потрепал черную пухлую щечку, а затем обратился к миссис Букер:

— Какие они у вас славные крепыши! — сказал я.

— Спасибо, — ответила она, и я впервые оценил истинный смысл этого слова, которое в Америке произносит каждый человек, на каждом шагу и по всякому поводу.

4

Вскоре я ближе познакомился с ними. Мистер Букер родился в семье раба и получил свободу только после гражданской войны. В двадцать лет он потерял отца. В ту пору мистер Букер прислуживал в кабачке, впоследствии же стал его владельцем.

Накопив денег и продав кабачок, он переехал в наш город, где и купил соседний дом, и теперь занимался мелкой торговлей.

Однажды я пригласил к себе в комнату сынишку Букера и угостил шоколадом. Проводив мальчугана домой, я закрыл парадную дверь и уже направился было в свою комнату, как передо мной с лицом, перекошенным от злости, вырос хозяин. Он пытался что-то выговорить, но не мог, за ним стояла на пороге столовой миссис Ригз и, злобно оскалив зубы, с ненавистью смотрела на меня.

— Вы... вы... вы оскверняете наш дом, — с трудом выдавил мистер Ригз.

— Что случилось? — спокойно спросил я.

Мой вопрос привел миссис Ригз в такое бешенство, что она готова была выцарапать мне глаза.

— Вы оскорбляете нас, приводя в наш дом ублюдка, этого мерзкого черномазого, — завопил мистер Ригз.

— Я привел его к себе, в свою комнату, — отрезал я и собирался уже уходить, когда мистер Ригз схватил меня за руку.

— Я требую, чтобы вы покинули мой дом.

— Пожалуйста, я съеду в конце месяца, — сказал я и удалился.

5

Месяц был на исходе. Однажды поздно вечером я возвращался к себе. Еще издалека я увидел огромную толпу, запрудившую улицу. Полицейские пытались навести порядок.

Я поспешил домой.

Горел дом негра Букера. Пожарные орудовали вокруг, а дом пылал, трещал и рушился. Непрерывно работал водяной насос. Огромная струя воды надежной завесой защищала дом мистера Ригза от пламени.

Мистер Букер с женой и детьми стоял перед горящим домом. Все они смотрели на пожар испуганными, полными отчаяния глазами.

Я подбежал к ним.

Миссис Букер, рыдая, обняла меня:

— Мы не успели застраховать дом.

Красные губы мистера Букера дрожали, взгляд был страшнее бушующего огня.

— Мой дом поджег мистер Ригз. Он ответит за это перед законом, или я сам расправлюсь с ним.

Перед Букером внезапно появился полисмен и грубо оборвал его:

— Угрожать человеку невиновному — значит совершить преступление. Вы понимаете это?

— Понимаю, я все понимаю, я знаю и то, что главное для закона — это цвет кожи, — ответил мистер Букер.

— Замолчи, — пригрозил полисмен и повернулся к нему спиной.

Дрожа от негодования, я ворвался в дом Ригза и распахнул двери столовой.

Мистер и миссис Ригз в ужасе отпрянули от меня, кофе расплескался на скатерть. Какое-то мгновение я молча смотрел в глаза этих аристократов и понял: пожар был делом их рук.

— Негодяи! — закричал я. — Изуверы, чудовища!

Они молчали. Я подошел к окну и увидел мистера Букера с женой и двумя детьми, освещенных ярким огнем. Дети плакали, прижавшись к матери, а мистер Букер не отрываясь смотрел на языки пламени, которые лизали их дом.

В квартире мистера Букера, вместе с его домашним скарбом, горела также американская конституция.

6. Изабелла Серрано

Перевод Р. Григоряна

Лежащая на юге Испании Андалузия издавна славится винами и танцами.

Женщины там носят широкие яркие юбки разных цветов: нижняя янтарно-желтая, на нее надевают синюю, а сверху — алую, как кровь. Юбки широкой цветной полосой видны одна из-под другой.

Андалузцы танцуют стремительно, как ураган, изгибаясь, подобно морской волне. Они танцуют всегда и везде, (танцуют долго и самозабвенно.

Тела андалузцев гибки, как копье арабского всадника, который некогда мчался по Андалузии, гибки, как ива в Араратской долине. Особенно любят они плясать в лунную ночь, когда звезды, как цветы, загораются на чистом небе.

Изабелла Серрано была родом из Андалузии, из маленькой деревни близ Севильи.

Она села на пароход в лиссабонском порту и теперь направлялась в Америку.

Ее сопровождал пожилой человек с маленькими хитрыми глазками и короткими закрученными усиками. Это был бизнесмен из Буэнос-Айреса, приехавший в Испанию по торговым делам.

В одной из деревень Севильи он увидел Изабеллу Серрано, танцующую во время народных празднеств, и понял, что на ней можно хорошо заработать.

* * *

Казалось, что южное солнце по каплям впиталось в тело Изабеллы Серрано, такой гладкой, теплой и смуглой была ее кожа.

Большие черные глаза девушки оттенялись длинными и острыми, как пальмовые листья, ресницами, смоляные кудри падали на плечи, едва прикрытые красной блузкой. На ней была синяя юбка и короткие голубые чулки.

Изабелла Серрано ужинала вместе со своим импресарио. Прямо перед ними сидел молодой человек с длинными волосами и добрыми глазами, кутивший трубку в глубоком раздумье.

Увидев Изабеллу, он впился в нее взглядом так, словно внезапно нашел потерянную нить своих мыслей.

Изабелла посмотрела на него, вскинув брови, но молодой человек не мог оторвать глаз от девушки.

Закончив ужин, Изабелла встала. Импресарио накинул ей на плечи мягкий розовый платок. Уходя, девушка обернулась и улыбнулась незнакомцу. Он вскочил, поклонился ей и стоял до тех пор, пока Изабелла не скрылась в дверях.

* * *

На следующее утро, за завтраком, Изабелла была одна. Море раскачивало корабль, как легкое перышко. Большинство пассажиров не могли подняться с постелей. Было пасмурно, и в ресторане горела люстра.

Темно-зеленые волны свирепо ударялись о борт корабля.

— Донна Изабелла, вы когда-нибудь бывали в Америке? — спросил молодой человек.

— Откуда вам известно мое имя?

— Из утренней газеты. Вы еще не читали ее? — спросил он и протянул Изабелле корабельный листок.

Изабелла быстро просмотрела газету.

— Нет, — сказала она, — я впервые в жизни выезжаю из Андалузии.

...После завтрака молодые люди вместе поднялись на палубу.

Море бушевало, поднимая огромные пенистые волны.

— Как вас зовут? — спросила Изабелла.

— Эмиль.

— А как ваша фамилия?

— Я скажу вам только, что я француз.

— Вы какой-то загадочный человек, без фамилии.

— Дело в том, что я тайно еду в Америку, — доверчиво ответил молодой человек.

Чтобы переменить тему разговора, Изабелла сказала:

— Посмотрите, как разбушевало море, неправда ли, так оно еще красивее!

— Берегитесь, донна Изабелла, в Америке жизнь такая же бурная, как это море.

Глаза девушки внезапно погрустнели. Она рассказала своему новому знакомому о том, как ее, простую деревенскую девушку, однажды во время пляски увидел господин де Валера, познакомился с ней, а потом пришел к ее матери, дал ей много денег и договорился увести Изабеллу на год в Америку, где она должна будет выступать с танцами.

— Через год я снова вернусь в Андалузию, — решительно закончила Изабелла.

— Разве вы так уж нуждались в этих деньгах? — спросил Эмиль.

— Да, мы очень нуждались. Мой отец недавно умер, и на руках у матери остались малые дети.

— Донна Изабелла, остерегайтесь денег, их в Америке так же много, как вина в Андалузии.

К Изабелле подошел матрос.

— Вас просит мосье де Валера.

— Я скоро вернусь, — обратилась испанка к Эмилю и сошла с палубы.

Когда она спускалась по лестнице, ветер развеивал ее розовый платок, делая ее похожей на сказочную, парящую в небе птицу.

Спустя некоторое время Изабелла вернулась. Эмиль все еще стоял на мостике и смотрел на солнце, выглянувшее из-за туч.

— Де Валера не может поднять голову с подушки.

— Зачем он звал вас, донна Изабелла?

— Просто хотел увидеть меня.

— Мосье де Валера смотрит на вас, как купец на свой товар, — сказал Эмиль.

— Зачем вы так говорите? Он очень добр ко мне и к моим родным.

— Да, пока вы будете танцевать.

— У вас такие добрые глаза, Эмиль, а говорите о людях так плохо, — с укором произнесла она.

— Извините, если обидел вас, донна Изабелла, я хотел только предостеречь: не играйте с огнем, вы можете опалить свои прекрасные черные волосы.

— Чем вы занимаетесь? — спросила девушка.

— Я поэт, — ответил Эмиль.

Над синими океанскими волнами сияло солнце, но на душе Изабеллы Серрано было пасмурно, как на море еще утром.

* * *

Вечером корабль подошел к нью-йоркскому порту. Город сверкал огнями как большой костер. Пассажиры собрались на палубе.

Французский поэт и андалузка стояли на носу корабля.

— Вот он, Нью-Йорк, — сказал поэт.

— Я потеряюсь в этом большом городе, — прошептала Изабелла.

— Теперь вас знает весь Нью-Йорк, — все газеты уже напечатали ваши фотографии: этот де Валера очень ловкий человек.

— Вы опять злословите!

— О, я хорошо знаю эту страну, я опускался на ее дно, поднимался и на ее вершины, насквозь прогнившие, но покрытые позолотой. И мне еще раз хочется сказать вам, будьте осторожны, донна Изабелла, возьмите столько долларов, сколько необходимо вам и вашей семье, и скорее возвращайтесь в Андалузию.

Корабль причалил к пристани. Со скрежетом спустили якоря. На палубе началась толкотня, пассажиры спешили сойти на берег. Изабелла и поэт увидели де Валера, окруженного какими-то людьми. Это были корреспонденты газет, которые поднялись на корабль, чтобы получить новые сведения об испанской танцовщице.

Де Валера представил им Изабеллу.

Андалузка с опаской смотрела на этих говорливых людей.

Потом танцовщицу окружила толпа фотокорреспондентов, засверкали магниевые вспышки.

— Эмиль, я вас считаю своим другом. Дайте мне ваш адрес.

— Пока у меня нет адреса, но я непременно найду вас сам.

В это время к Изабелле подошел де Валера. Он был явно недоволен.

— Вы очень много времени уделяете этому легкомысленному поэту, — сказал импресарио.

* * *

Нью-йоркский отель «Астория», куда мосье де Валера привел Изабеллу, показался ей скучным.

Целыми днями она сидела у окна и смотрела на самый большой город Нового Света.

Изабелла вспоминала Андалузию, ее лунные ночи, свою мать, младших сестер и плакала.

Де Валера был очень занят, — он принимал у себя театральных антрепренеров и заключал с ними договоры.

За полчаса были проданы все билеты на концерты, которые Изабелла должна была дать в Америке. Ей предстояло танцевать, танцевать, без конца танцевать.

Когда де Валера вошел к Изабелле, слезы на ее глазах уже высохли.

— Донна Изабелла, — начал он, — как вы уже знаете, я обещал вам платить десять тысяч долларов в год.

— Да, это так, но если вы думаете платить меньше, я вернусь в Андалузию, к своим родным.

— Не надо спешить, донна Изабелла, — прервал ее де Валера, лицемерно улыбаясь. — Я обещал десять тысяч долларов, но могу заплатить и больше. Наши дела пошли хорошо. Я даю вам двадцать тысяч долларом в год.

— Вы так добры ко мне, — воскликнула Изабелла, ее лицо осветилось улыбкой, а глаза заблестели, как прежде в Андалузии.

— Он был неправ, — прошептала девушка про себя.

— Я понимаю вас, — сказал де Валера, — этот французский поэт забил вам голову всякой чепухой, а мы поверили ему и насторожились. Я еще тогда почувствовал, что он наговорил вам разных небылиц. Но сама жизнь покажет, кто из нас лжет.

— Вы очень добры, — искренне повторила испанка.

— Вот вам десять тысяч долларом, помимо всяких договоров, — у вас будет еще много таких тысяч, если нам станет сопутствовать успех, — гордо заявил де Валера и вручил ей чек.

Изабелла попросила его отправить в Испанию телеграмму о ее приезде в Нью-Йорк.

— Я уже дал телеграмму и выслал вашим родным две тысячи долларов.

— Две тысячи долларов?!

— Да, конечно, я выполняю все свои обещания.

Изабелла запрыгала от радости, как ребенок, получивший новую игрушку.

Оставшись одна, она снова стала смотреть из окна на этот огромный незнакомый город, и теперь ей казалось, что она плывет в счастливом сне.

Внезапно в дверь постучали. Вошла горничная отеля и подала ей вечерние газеты.

Изабелла развернула газету и увидела на первой странице свою фотографию.

Она почувствовала неприязнь к французскому поэту, который пытался омрачить со новую жизнь.

Когда де Валера вернулся, Изабелла рассказала ему о своем разговоре с поэтом.

— Он говорил, что вы смотрите на меня, как купец на свой товар.

Де Валера презрительно усмехнулся.

— Бедный, глупый поэт. Разве он знает цену доллару?

Разговор был прерван появлением слуги, который подал мосье де Валера визитную карточку посетителя.

Импресарио прочел ее.

— Меня хочет видеть сын угольного короля Америки, — волнуясь, произнес де Валера и поспешил в фойе.

Изабелла не поверила ему.

«Какие дела могут быть у сына угольного короля к моему импресарию», — подумала она.

Но она ошиблась. Визитная карточка действительно принадлежала сыну угольного короля Америки, мистеру Роберту Шрайтеру.

Молодой Шрайтер считался самым галантным кавалером в нью-йоркском «высшем свете». Он тратил отцовские деньги, развлекаясь в своем особняке и на собственном корабле, носящем название «Посейдон».

...В фойе отеля де Валера, угодливо улыбаясь, представился мистеру Шрайтеру. Затем он вернулся к Изабелле и сообщил ей, что сын угольного короля приглашает ее после премьеры посетить его личный корабль.

— А сейчас вы должны спуститься вниз и познакомиться с мистером Шрайтером.

Испанка вместе с импресарио медленно вышла в фойе. Навстречу им поднялся сын угольного короля, самый галантный кавалер «высшего света» Нью-Йорка.

— Я много слышал о вас, — обратился мистер Шрайтер к Изабелле Серрано, — но хотел лично познакомиться с вами. Америка гостеприимная страна, мы рады принимать у себя людей искусства, особенно таких, как вы.

Изабеллу поразила простота и сердечность сына угольного короля Америки. Он говорил с ней как с равной.

* * *

Утром Шрайтер и Изабелла катались в автомобиле по Нью-Йорку.

На всех улицах, на стенах домов, в кафе, в трамваях, на станциях метро, в ресторанах — во всех концах Нью-Йорка были расклеены афиши:

ИЗАБЕЛЛА СЕРРАНО

Исполняет испанские фантастические танцы:

1. Рассвет в Андалузии
2. Буря любви
3. Море

Машина мистера Шрайтера остановилась у ресторана на берегу реки. Мистер Шрайтер нежно взял девушку под руку и помог ей выйти из машины.

— Если вы не против, мы пообедаем вместе, — предложил мистер Шрайтер.

— Хорошо, — согласилась Изабелла.

— Здесь нет андалузских вин, — сказал мистер Шрайтер, — мы будем пить бордо.

За столом сын угольного короля Америки жадно разглядывал Изабеллу, ее черные глаза с длинными и острыми, как листья пальмы, ресницами, ее гладкие смуглые руки и покусывал свои толстые, чувственные губы.

Когда обед закончился, мистер Шрайтер бросил официанту стодолларовую бумажку и они вышли из ресторана.

Сидя в машине, Изабелла испытывала огромное наслаждение, окружающее казалось ей радостным сном...

Де Валера встретил их в фойе отеля.

— Не правда ли, жизнь прекрасна? — спросил он Изабеллу.

Девушка ничего не ответила, только улыбнулась.

— Барышне необходимо отдохнуть, — сказал сын угольного короля.

На прощание Изабелла протянула руку мистеру Шрайтеру, и он припал к ее пальцам долгим поцелуем.

— Такой прелести я еще в жизни не видел, — признался мистер Шрайтер, когда испанка ушла.

Де Валера подкрутил свои маленькие усики и улыбнулся:

— Как вам будет угодно, мистер Шрайтер.

Сын угольного короля сел за стол и, выписав чек на пятнадцать тысяч долларов, протянул его импресарио:

— А с вами мы встретимся позже.

Уходя, мистер Шрайтер отдал де Валера свою визитную карточку, на которой было что-то написано.

Де Валера прочел: «Не забудьте про ночь на море».

Он поднялся в комнату Изабеллы. Девушка лежала в постели.

— Донна Изабелла, — закричал он, вбегая в комнату, — сын угольного короля Америки любит вас. Вот доказательство.

Бизнесмен вручил ей доказательство любви — чек на пятнадцать тысяч долларов и визитную карточку миллионера.

— Не понимаю, почему «ночь на море»?.. — прошептала Изабелла.

— Разве вы забыли, что после премьеры мы приглашены на его корабль.

Изабелла устремила взгляд куда-то в пространство и задумчиво улыбнулась.

* * *

Публика, переполнившая зрительный зал, замерла в ожидании испанской танцовщицы.

До сих пор зрителями Изабеллы были простые люди, теперь она должна была впервые выступать перед господами во фраках. Она волновалась.

В уборную танцовщицы заглянул де Валера и, убедившись, что Изабелла готова к выходу на сцену, исчез.

Он должен был сказать зрителям несколько слов.

До концерта оставались считанные минуты. Из зала слышались громкие аплодисменты.

«Де Валера кончил», — подумала Изабелла, внимательно вглядываясь в свое отражение в огромном зеркале.

— Донна Изабелла, пора на сцену, — услышала она.

Больше она ничего не видела, осталось только ощущение легкости, с которой ее ноги плавно заскользили по полуосвещенной сцене, постепенно убыстряя темп. Сцену тоже постепенно заливал свет.

Полумрак исчез — это рассвет в Андалузии.

В гибком теле испанки бушевал огонь, подобно солнцу, пылающему над Андалузией. Она подняла руки, и все ее тело устремилось вверх: казалось она вот-вот оторвется от земли и унесется в небо.

Внезапно Изабелла опустилась на пол, затем стала медленно приподниматься, остановилась, откинув назад голову и изогнув талию. Теперь лучи света ярко освещали сцену, а Изабелла Серрано продолжала свой волнующий, головокружительный танец восхода солнца.

Зал бушевал от восторга.

В уборную танцовщицы влетел мосье де Валера и, упав на колени, стал целовать ноги Изабеллы.

— Какой успех, донна Изабелла, какой успех! — восторженно повторял он.

Аплодисменты не умолкали. Изабелла вновь вышла на сцену, которую во время антракта усыпали цветами.

Когда представление окончилось, де Валера рассказал испанке, что это сын угольного короля засыпал сцену цветами.

— Он был в зале? — спросила Изабелла.

— А разве вы не видели его в ложе справа?

— Нет, я никого не видела...

* * *

«Посейдон» стоял в нью-йоркском порту, чтобы по первому приказу мистера Шрайтера выйти в открытое море.

Изабелла Серрано, в легком платье с открытыми плечами, кутаясь в длинную мантилью, вышла из театра и села в машину, где ее давно ожидал сам Шрайтер.

На корабле уже собралось более пятидесяти представителей нью-йоркского «высшего света». Большой зал на «Посейдоне» был празднично освещен люстрами.

Когда Изабелла Серрано и мистер Роберт Шрайтер поднялись на корабль, гости встретили их рукоплесканиями.

Слуги забросали цветами испанскую танцовщицу и сына угольного короля Америки.

Гордость переполнила сердце Изабеллы. Она понимала, что все это делается для нее, — это ее победа.

Де Валера, как лиса, кружил вокруг сына миллионера и льстиво улыбался, стараясь угодить ему. Ведь мистер Шрайтер сказал: «С вами мы встретимся позже», — а это означало, что его услуги будут щедро оплачены.

По знаку мистера Шрайтера, маленький корабельный оркестр заиграл танцевальную музыку. Изабелла сбросила с плеч мантилью и стала танцевать.

Этот танец был еще более чарующим и сказочным, чем те, которые она исполняла для бродвейской публики.

Корабль разрезал темно голубые воды Атлантики, оркестр играл, Изабелла танцевала, гости восхищенно аплодировали ей, а мистер Шрайтер кусал губы, сгорая от вожделения.

* * *

Шрайтер прильнул к губам Изабеллы и пил южное солнце, которое по каплям впиталось в ее смуглое тело.

— Прикажи, чтобы корабль направился в Андалузию, — шептала Изабелла в объятиях Шрайтера...

В зале царил хаос. Пьяные гости уснули в бархатных креслах. На полу валялись растоптанные цветы, осколки разбитых ваз и бутылок.

И только белая водяная лилия, чудом уцелевшая, еще лежала на краю стола и печально взирала на окружающее.

Достаточно было заглянуть в этот зал, чтобы представить себе дикую оргию, которая бушевала здесь.

Утром корабль причалил к берегу. Изабелла вместе с мистером Шрайтером сошла на берег, смятая, как брошенные на пол и затоптанные цветы.

* * *

Согласно договору, заключенному с мосье де Валера, испанка продолжала свои выступления.

Мистер Шрайтер скоро забыл Изабеллу, доллары открывали ему пути к новым увлечениям.

Де Валера знакомил танцовщицу с новыми шрайтерами, мелкими и крупными.

Одна за другой гасли звезды в глазах андалузской крестьянки. Изабелла горько переживала свою преждевременную осень. Ее тело вскоре потеряло свою гибкость и стремительность, а ноги легкость. Танцы Изабеллы перестали волновать зрителей. Лишь несколько добрых рук аплодировали танцовщице в память о ее былой славе.

* * *

Прошли годы.

Изабелла Серрано осталась одинокой и всеми забытой.

Однажды, когда она сидела в комнате, разглядывая в зеркале свое увядшее лицо, ей вручили визитную карточку. Глаза Изабеллы мгновенно загорелись.

— Проси, проси, — это мой старый друг, — велела она служанке.

Это был французский поэт.

Они крепко обнялись. Слезы душили Изабеллу. Потом, помолодевшая и преображенная, она вскинула свои длинные и острые, как листья пальмы, ресницы и с грустью сказала:

— Помнишь, ты говорил мне: «Будь осторожна с первых же шагов». Но я сделала и первый, и много других...

— Вернись в Андалузию, к ее народным праздникам. Теперь ты знакома с позолоченной гнилью Америки, — отвечал поэт.

Светло-голубые цветы

Перевод Р. Григоряна

На ее похороны пришло несколько человек: сестра покойной — Турвантан с мужем паланчи[38] Григором, брат ее мужа — Симон, два соседа с женами, поп да пономарь: дьячку поп приходить не велел, чтобы вырученные деньги потом поделить только с пономарем.

Сару похоронили на кладбище рядом с мужем, который умер еще год назад и, наверное, с нетерпением ждал ее.

Тут же у могилы нон потребовал денег и, получив их, быстро, не простившись ни с кем, исчез.

Выйдя за кладбищенские ворота, собравшиеся разошлись.

Паланчи Григор сказал Турвантан:

— Ну, жена, я пойду в мастерскую.

А дома, теперь круглый сирота, пятилетний Торик дожидался возвращения тетки.

Перед выносом тела заплаканная Турвантан вспомнила о ребенке, вернулась в дом, сунула кусок черствого хлеба малышу в руки, посадила на палас[39] и сказала:

— Торик, птенчик мой, не уходи никуда, я скоро вернусь.

Торик стал есть хлеб. Турвантан накинула на голову черную шаль и торопливо вышла.

Когда она вернулась с похорон, Торик, расправившись с краюхой хлеба, играл с котенком. Он манил его к себе оставшейся корочкой, а когда котенок приближался, отдергивал от его когтистых лапок хлеб и весело смеялся.

Вид беззаботного ребенка, играющего на паласе, заставил больно сжаться сердце Турвантан. Она зарыдала.

Во всем мире, кроме нее, не было ни души, кто бы позаботился об этом сироте... И Турвантан, не долго думая, укутав Торику в свою черную шаль, взяла к себе. Дома она разожгла огонь, согрела воду, выкупала ребенка и уложила спать. Пока он спал, Турвантан выстирала рубашонку, высушила на солнце, залатала. Одев Торику во все чистое, она стала дожидаться возвращения мужа из мастерской.

Когда паланчи Григор пришел вечером домой, Турвантан встретила мужа у ворот с мальчиком на руках, и когда он подошел к ней, сказала:

— Ты всегда говорил, что в каждом настоящем доме должен быть ребенок. Вот тебе сын, считай, что я его родила.

Шел уж двадцатый год их брака, а детей у них все не было, хотя супруги счет потеряли свечам, которые ставили в церкви, умоляя всевышнего помочь им.

Григор долго и внимательно смотрел на улыбающегося Торику, и сердце его сжалось, он подмигнул мальчику, взял его из рук жены, поцеловал и сказал:

— Наконец бог смилостивился над нами.

— Если бы не мы, что бы с ним стало, — сказала Турвантан.

— Бросили бы его в сиротский дом, — ответил Григор.

Турвантан расплакалась, вспомнив свою несчастную сестру, покоившуюся на кладбище, под густой тенью тутовника.

* * *

Турвантан Коро и паланчи Григор полюбили Торику настоящей родительской любовью. Только теперь поняли они, что такое в доме ребенок. Не прошло и нескольких месяцев, как им стало казаться, что Торик родился и вырос у них. А Торик был удивительно спокойным ребенком: не плакал, не проказничал. Усадят его куда-нибудь — сидит на месте, пока о нем не вспомнят. Уложат спать на правом боку, проснется в том же положении. Дадут поесть — ест с удовольствием, не дадут — молчит, не просит.

— Эй, Торик, — кричал Григор, возвращаясь из мастерской, — где ты?

Торик спокойно поворачивал голову к отцу и, глядя на него ясными глазами, улыбался.

— Божье создание, а не ребенок, — любила говорить Турвантан.

— Жаль только, вялый немного, — сокрушался паланчи Григор. На что жена всегда сердито хмурила брови.

Иногда Турвантан усаживала мальчика на палас, постланный на полу, и говорила ему:

— Торик, родненький, ты поиграй немного, а я пойду на базар и скоро вернусь.

Она запирала дверь на замок, отправлялась на базар за покупками, а Торик, пока ее не было, часами сидел на паласе, не шелохнувшись.

Как-то Григор, долго наблюдавший за ребенком, сказал:

— Какой-то неживой он у нас.

— Не говори так. И без того ребенок обижен богом, он сирота, — упрекнула его Турвантан.

Григор промолчал, но в душе не мирился с тем, что у его сына такой забитый, жалкий вид. Ему казалось, может и без всяких на то оснований, — будь Торик его родным сыном, он был бы жизнерадостным, сообразительным, бойким мальчишкой. Почему так казалось, ему трудно было объяснить, но говорить на эту тему он мог без конца.

Однажды Турвантан возмутилась:

— Столько лет мы с тобой мечтали о ребенке, ведь не было. Скажи спасибо, что хоть такой у нас есть.

С того дня паланчи Григор больше об атом не заговаривал.

* * *

Торик рос и вскоре окреп, вытянулся. Только голова его была непомерно маленькой.

— Башка у него больно маловата, — не удержался однажды паланчи Григор, хотя давно решил про себя не говорить на эту тему.

Жена не пропустила его слов мимо ушей.

— Ну и пусть маленькая, нам не орехи бить на его голове.

— Была бы чуть побольше, лучше бы варила... — возразил паланчи Григор.

Турвантан промолчала, с явной насмешкой смерив мужа взглядом с ног до головы.

А однажды случилось так, что паланчи Григор, выйдя прогуляться, взял с собой Торику. Несколько раз он останавливался на улице поболтать с приятелями. Торик, прижавшись к нему, спокойно дожидался, пока Григор закончит разговор. Он не проявлял ни малейшего нетерпения, не требовал к себе внимания. И паланчи Григор стал чаще брать его с собой. А потом уже и не мог обходиться без него.

— Пусть ребенок сидит дома, — говорила Турвантан Коро, — он тебе будет мешать.

— Нет, жена, он совсем мне не мешает. Уцепится за мои шаровары и стоит себе смирненько.

Турвантан искренне радовалась сыну.

— Спасибо тебе, господи, что помог сироте найти родной кров, а нам познать родительскую радость. У нас с Григором ничего бы не получилось...

Постепенно паланчи Григор и Турвантан Коро так привыкли к Торику, что даже не представляли свою жизнь без него.

— Как бы мы с тобой жили, не будь у нас этого мальчонки? — спрашивал муж.

— Как, как, — сердилась жена, — сидели бы вдвоем у себя в норе и глядели бы друг на друга, пока не надоест.

— Эй, Торик! — громко звал Григор.

— Что Григор-ага? — сейчас же откликнулся Торик.

— Дай-ка воды попить, сынок!

Торик приносил воду.

Восторгу Турвантан не было предела, когда Торик называл ее мужа «Григор-агой», чему она сама научила мальчика. Поскольку никто на белом свете не звал его так и не будет звать, пусть хотя бы Торик зовет его Григор-ага.

— Торик, Торик, кто это стучится в дверь? — кричала она, прекрасно зная, что это муж.

— Это твой Григор-ага, — отвечал Торик.

Турвантан радостно прижимала малыша к своей груди, целовала его и говорила:

— Умереть Григор-аге за тебя...

* * *

Когда Торик немного подрос, он стал помогать матери по хозяйству.

— Торик, отнеси-ка домой мясо..

— Эй, Торик, возьми домой хлеб.

— Торик, сынок, сбегай к Григор-аге, скажи, чтобы купил уксуса.

И Торик выполнял все поручения с готовностью, безропотно. Только делал он все очень медленно: чтобы дойти от дома до мастерской Григор-аги и обратно, ему требовалось чуть не полдня.

Григор возвращался домой, а суп еще не был готов. Он удивлялся.

— Турвантан, милая, — говорил он своей жене, — так поздно, а у тебя суп не готов. Ты что, хочешь уморить меня голодом?

— Уж больно поздно прислал ты мясо.

— Что ты, я еще утром послал его с Торицом.

— А Торик пришел в полдень.

— Торик!!!

Мальчик покорно вставал и ясными глазами смотрел на него.

— Ты по дороге домой никуда не заходил?

— Нет.

Торик не обманывал. Он и вправду шел прямо домой, но по дороге частенько останавливался, с любопытством смотрел на прохожих, на бродячих циркачей с медведем, на кур, клюющих зерно где-нибудь во дворе, на дерущихся собак. Случалось, что, зазевавшись, он не замечал, как из-под мышки исчезал вдруг каравай хлеба или пучок зелени. Особенно он опаздывал в дни, когда на улице крупными хлопьями шел снег. Медленно опускавшиеся снежные хлопья доставляли Торику бесконечную радость, он поднимал голову и ждал, пока какая-нибудь снежинка упадет ему на ресницы.

И вот однажды, засмотревшись на что-то, он не заметил, как бродячая собака подкралась к нему и утащила из сумки мясо. Торик спохватился поздно, погнался за дворняжкой, не догнал.

В тот вечер паланчи Григор не выдержал и дал ему пощечину.

— Возьми наконец себя в руки, малыш, мы же деньги платим за мясо!

— Григор-ага, больше не буду, — сквозь слезы ответил мальчик, и такая грусть, такая тоска была в его голосе, что Григора охватило глубокое сожаление. Слезы навернулись ему на глаза, он отвернулся, чтобы мальчик не заметил. А Турвантан не выдержала и заплакала вместе с сыном, причитая:

— Зачем ты ударил сироту, чтоб руки твои отсохли.

А ночью в постели Турвантан повернулась к мужу спиной.

— Торик, что с тобой, — удивился паланчи Григор, — зачем ты отвернулась?

Турвантан молчала.

— Да в чем же дело?

Наконец паланчи Григору удалось повернуть к себе упорно молчавшую жену.

— Не смей больше руку поднимать на сироту. Что я отвечу на том свете своей сестре?

— Ну, раз сорвался, жена, — оправдывался Григор, — больше не буду, — и своими усами, похожими на метелку, прикоснулся к губам жены.

— Не мешай, я спать хочу.

Наступило молчание.

Каждый раз, когда Турван штопала одежду Торику, она недоумевала: почему у него продирались рукава не на локтях, как у всех детей, а выше, у плеч.

— Ба! — удивлялась она. — Что такое, просто ума не приложу!

Однажды Григор-ага решил пойти следом за Торику и посмотреть, в чем дело. И все объяснилось. Всю дорогу в лавку Торик шел, касаясь стен правым, а домой, на обратном пути — левым плечом.

* * *

И вот наступил день, когда Торику повели в школу, в учебное заведение господина Ашура.

— Мясо тебе, кости нам, — сказал, как положено, паланчи Григор, подведя будущего ученика к учителю.

Господин учитель Ашур поглядел на Торику из-под очков. Мальчик стоял перед ним смиренно, держа руки по швам.

— Видать, смышленный, — сказал учитель.

Паланчи Григор просиял от гордости и сказал:

— Господин учитель, что ребенок видел дома, тому и учился.

Три года ходил Торик в школу господина Ашура, но одолеть армянский алфавит так и не сумел — читать не научился. Но Турвантан упорно настаивала на том, чтоб Торик продолжал ученье.

— Парень ничего не смыслит в грамоте, — возражал паланчи Григор, — зачем его мучить?

— Придет день, он все поймет, — твердила Турвантан.

— Если за три года читать и писать не научился, считай, он совсем осел и в люди не выбьется, — стоял на своем муж.

Турвантан улыбнулась и сказала:

— Бог мой, стало быть, ты тоже у меня осел, коль не умеешь ни писать, ни читать.

Паланчи Григор закусил язык. И Торик продолжал ходить в школу до тех пор, пока сам господин учитель не отказался от него. Он объяснил родителям, что их сын настолько отстал в ученье от своих сверстников, что сидит в одном классе с малышами, и держать его дольше в школе не имеет смысла.

— Помнишь, жена, ого отец тоже был туповат. Это у него по наследству.

— О покойниках плохо не говорят, — оборвала его Турвантан.

После долгого раздумья паланчи Григор предложил:

— Хочешь, я возьму его с собой в мастерскую, научу своему ремеслу, будет у него в руках кусок хлеба.

На сей раз Турвантан пришлось уступить мужу, потому что над верхней губой Торику уже пробивался пушок, голос стал ломаться. Ясно было, что у Торику нет ни любви к ученью, ни способностей.

* * *

В первый день паланчи Григор долго возился с сыном.

— Помни, Торик, нет хороших и плохих ремесел: все одинаково хороши, потому что спасают человека от нищеты, позволяют ему не склонять голову перед другими. А кроме того, в каждом ремесле есть что-то свое, хорошее. И в нашем тоже. Спроси-ка у меня, что именно?

— Что, Григор-ага?

— А то, что мы не с людьми имеем дело, а с ослиами. Чего скалишь зубы, что смешного? — рассердился не на шутку Григор-паланчи. Торик хотел было сказать, что его рассмешил рев осла, донесшийся в этот момент с улицы, но смолчал: побоялся пощечины. А паланчи Григор тем временем продолжал наставлять:

— Ты не думай, что наше ремесло легкое, нет, дорогой, в каждом ремесле есть свои трудности и свои секреты.

— Верно, верно, Григор-ага, — поддакивал Торик.

— Ну так вот этим секретом ты должен овладеть.

— Буду стараться, Григор-ага, что здесь трудного.

— Не говори гоп, пока не перепрыгнешь, мы еще поглядим на тебя.

И Торик приступил к работе.

Сравнительно легко далось ему искусство шитья паланов[40]. Он научился плотно набивать мешок соломой, привязывать с боков веревками. Но самое сложное — отделка седла — не давалась.

Паланчи Григор порой терял терпение и в присутствии клиентов, прямо в мастерской, распекал Торику.

— Эй ты, ослиная башка, — кричал он раздраженно, — сто раз твержу одно и то же. Тебе в голову ничего не лезет.

— Григор-ага, при чем тут осел? — спрашивал Торик.

— А при том, что осел — тупое животное.

Подчас становилось нестерпимо тяжело Торику, и он убегал домой и жаловался Турвантан.

— Тетя Турик, я не гоюсь в помощники Григор-аге, я больше не пойду в мастерскую.

— Сынок, все начинали так. А сколько колотушек получал твой Григор-ага, пока выучился наконец.

Опустив голову, Торик возвращался в мастерскую.

— Ну, образумился? — спрашивал паланчи Григор.

Торик молча брал шило и принимался за работу. Бывали неприятности и другого порядка.

В отсутствие паланчи Григора Торик становился за прилавков и продавал хурджины[41] на много дешевле их стоимости.

— Почему ты продаешь за полцены? — возмущался паланчи Григор.

Торик, потупив взор, молчал.

— Ну, отвечай же, осел! — кричал Григор.

— Так уж случилось, больше не буду.

— Ах ты негодяй, — горячился паланчи, — который раз ты даешь мне слово — и не сдерживаешь. Ну разве можно так?

Однажды ночью после очередной ссоры Торик пришел домой пьяным. Такого еще никогда не бывало.

— Вай, вай, — воскликнула Турвантан, — этого только недоставало, горе мне, — и стала бить себя по бедрам.

Утром она ласково подошла к племяннику и стала расспрашивать его, что заставило его напиться.

— Лучше бы я умер и меня похоронили рядом с матерью и отцом, — мрачно ответил он тетке.

— Зачем ты так говоришь?

— Григор-ага очень меня обижает, — признался Торик, и глаза его наполнились слезами.

Между тем время шло, и Торик плохо ли, хорошо, научился отделявать седла, разобрался в ценах, словом, постиг секреты дела.

И однажды паланчи Григор купил вина и водки, пригласил к себе друзей, и когда веселье было в самом разгаре, подозвал Торика, посадил рядом с собой и ласково потрепав по щеке, сказал:

— Теперь ты стал настоящим мастером, к тебе не придерешься.

Торик ликовал.

— Эх, — говорила с гордостью Турнантан соседям, — Торик наша единственная опора и радость в жизни, кроме него, у нас нет родного человека на всем белом свете.

* * *

Время бежало быстро.

Умер паланчи Григор. Не болел, не мучился. Просто, придя как-то домой из лавки, сказал:

— Турин, что-то меня сильно знобит.

Жена уложила его в постель, укутала шерстяным одеялом, подложила под ноги горячий кирпич. Но паланчи Григор не дожил и до следующего дня. К утру его не стало.

— Тетушка Турвантан, не убивайся, — успокаивал ее Торик, — пока я жив, ты не будешь одна, я никогда тебя не брошу.

Рыдая, Турвантан обняла Торику и прошептала на ухо:

— Сынок, выдерни у покойника золотые зубы, это он сам просил, может, пригодятся.

Торик сумел сохранить клиентуру Григора-аги. Торговля шла без убытков. Только раньше они вдвоем орудовали в мастерской, а теперь Торик управлялся со всеми делами один.

— Не бойся, проживем, — говорила Торику Турвантан, — нам многого не надо.

Турвантан и Торик вспоминали часто паланчи Григора. Появится на рынке весной свежая зелень — укроп, сельдерей, — Турвантан говорила:

— Покойный Григор-ага любил зелень.

Появлялись на рынке свежие огурцы, и говорил Торик:

— Наш Григор-ага любил огурцы.

Так чтили память паланчи Григора.

Клиенты о прежнем хозяине вспоминали только тогда, когда снимали с ослов изношенные седла, сделанные еще руками старого мастера.

— Сегодня я латал пять паланов, все пять работы нашего Григора-аги, — рассказывал вечером Торик тетке.

В глазах у Турвантан всегда были наготове две-три слезинки, при удобном случае они тут же скатывались по ее щекам.

* * *

Каждая мать, собираясь женить своего сына, ищет невесту побогаче.

Так случилось и с Турвантан.

— Торик, сынок, — объявила она однажды, — завтра я иду сватать за тебя дочь фабриканта.

— Ха, ха, ха, — засмеялся Торик, но потом весь день ходил сам не свой, а ночью даже не смог сомкнуть глаз. Перед его взором все стояла дочь фабриканта, словно яркий солнечный луч, как потом он сам признался Турвантан.

И вот Турвантан подошла к огромной дубовой двери дома фабриканта, со всей силой постучала в нее и стала ждать.

Никто не отзывался.

— Верно, не слышат, — подумала она и стала стучать еще сильнее.

Вдруг до нее донесся чей-то смех. Она прислушалась. Смех становился все громче. Турвантан взглянула вверх и успела заметить чью-то голову, мгновенно скрывшуюся в окне. Вновь раздался хохот. Холодный пот прошиб Турвантан.

— Вай, чтоб я ослепла, несчастная... Лучше б провалиться мне сквозь землю, — застонала она и медленно поплелась прочь. Ей хотелось поскорей уйти от позора, но ноги подкашивались. Если бы она посмела обернуться, то увидела бы, как несколько человек, высунувшись из окна, громко и нагло смеялись ей вслед.

Турвантан с трудом дошла до первого перекрестка, свернула за угол и прислонилась к стене.

Когда Торик узнал об этом, он сказал:

— Тетушка, она, собственно, мне не очень-то и нравилась, эта дочь фабриканта, я согласился, лишь бы не обидеть тебя.

Но эта неудача не сломила Турвантан. Спустя несколько дней она вновь пустилась на поиски невесты для Торика, но теперь уже не метила так высоко.

— У меня на примете одна девушка, — сказала Турвантан Торику, — только вот не знаю, будет она тебе по душе или нет.

— А кто она?

— Дочь Киракоса Эфенди.

— Младшая, что ли? — спросил Торик и почувствовал, как сердце запрыгало у него в груди.

— Нет, старшая.

— Что ж, старшая тоже недурна собой.

Киракос Эфенди принял Турвантан, но был так холоден и высокомерен, что она даже не решилась сказать о цели своего посещения. Она почувствовала себя хуже, чем у дверей фабриканта.

Как же объяснить, зачем она пришла в дом, порог которого раньше не переступала никогда? Рубаха у Турвантан вся промокла от пота, пока она собралась с мыслями и проговорила:

— Я пришла спросить, не найдется ли у вас какая-нибудь работа для несчастной женщины, оставшейся без мужа, с малыми детьми на руках. Жалко ее.

Жена Киракоса Эфенди пообещала госте сделать все возможное.

Турвантан накинула на голову платок и вышла на улицу.

— Боже мой, — говорила она, — что стало бы со мной, если бы я вовремя не придумала эту историю.

Выслушав тетку, Торик упрекнул ее:

— Надо было прямо сказать, зачем ты пришла к ним.

— Поглядел бы ты, как вытянулись их лица, — оправдывалась Турвантан.

Не прошло и недели как Турвантан возобновила поиски невесты. Теперь она присматривалась к дочерям простых торговцев.

— Гм... Торик... не посватать ли нам дочь Игната-аги? — спросила Турвантан.

— А не получишь опять от ворот поворот? — тревожно спросил Торик.

— Не думаю.

На этот раз Турвантан была уверенней в себе. Но пришла она от Игната-аги совсем подавленная.

— Ну что, ушла не солоно хлебавши?

— Хорошо бы так, да ведь хуже.

— Что же они сказали? — встревожился не на шутку Торик.

— Ну, угадай, что сказала мне ее матушка.

Торик молчал. Он сгорал от нетерпения, но старался казаться спокойным.

— Представь себе, эта дрянь мне заявила: «А я-то думала, ты пришла забрать наше белье в стирку». Слыхано ли такое?

Торик впервые в жизни выругался непотребно, а Турвантан послала в адрес Игната-аги и его жены проклятья.

Наученные горьким опытом, мать и сын теперь уже искали невесту среди своего окружения — ремесленников. Уверенные в том, что любой ремесленник в их городе сочтет за честь выдать свою дочь за паланчи Торики, они не спешили с выбором, перебирали девушек.

— Вот дочь пекаря Симона...

— Хороша, но уж больно мала ростом, — возражал Торик.

— А младшая дочь каменщика Огасаби?

— Тоже ничего, да слишком рыжая, не нравится что-то мне.

— Дочь мясника Асатура? — продолжала Турвантан.

— Непоседа она и вертлява очень.

— А старшая дочка сапожника Тороса?

— Ну что ж, — засмеялся Торик.

Накинув на голову платок, Турвантан направилась прямо к сапожнику.

Старшая дочь его Луснига поставила перед гостьей чашечку кофе.

— Как выросла, стройная стала, — похвалила девушку Турвантан и сразу же завела разговор о сватовстве.

— Турвантан, — прервала ее жена сапожника, — об этом и речи не может быть. Пока Луснига не окончит школу, я ее замуж не отдам, — и так сухо поджала губы, что Турвантан только и оставалось распрощаться и уйти.

После этого поражения Турвантан, ничего не говоря Торику, заходила подряд ко всем: к мяснику Асатуру, к каменщику Огасабу, к пекарю Симону — и везде получала отказ.

А каменщик Огасаб даже обиделся.

— Твой Торик молокосос, — заявил он.

Что же оставалось после этого делать? Составили мать и сын список всех ремесленников в городе, и Турвантан обходила все дома по очереди и все с тем же печальным результатом возвращалась домой.

Эти неудачи выводили Торику из себя, он каждый раз ругался, посылал все к черту, нервничал.

И конечно, все это стало предметом сплетен и пересудов соседей и всей округи. По своей наивности Турвантан откровенно рассказывала всем о своих неудачах и переживаниях. В конце концов Турвантан пришла к выводу, что всему виной то, что Торик — сирота.

— Торик мой сирота, вот и не везет ему, нет ему счастья.

Как-то зашла к ней в гости соседка и сказала:

— Послушай, Турвантан, я нашла для твоего Торики хорошую невесту.

— Кто же она?

— Дочь Овакима.

Лицо Турвантан покрылось красными пятнами.

— Какого Овакима? — спросила она.

— Как какого? Сына бедного Лазаря не знаешь?

Наступило тягостное молчание.

Овакима все звали бедным Лазарем, потому что он был золотарем[42], то есть самым последним человеком во всем городе. У него было пять дочерей, одна красивее другой и жила семья в крайней нищете.

— От тебя я не ожидала такого, — сказала Турвантан с досадой.

Ее сердце больно сжалось за сына...

— Турвантан Коро, — продолжала соседка, — брось эти шутки, дочь золотаря Лазаря ничуть не хуже дочерей фабриканта, даже красивей их, если хочешь знать.

— Как бы не так...

— Не упряжься. Если тебе на самом деле нужна невестка, так лучше дочери Овакима не найдешь. Ведь всюду тебе дают от ворот поворот.

Турвантан замолчала и в бессильной ярости уставилась на соседку: ей не о чем было говорить с ней, она ждала, когда соседка уберется.

Вечером Турвантан пересказала Торику, ничего не тая, весь разговор с соседкой.

Торик тоже был оскорблен.

— Боже мой, до чего мы дожили, — сказал он, — неужели они думали, что я женюсь на дочери золотаря Лазаря?

— Этого еще не хватало, — бросила тетушка Турвантан.

* * *

Время летело быстро.

Торик мечтал о светловолосой девушке, томился одиночеством, нервничал. Часто он вскакивал среди ночи с постели, садился, свесив ноги, вздыхал тяжело и курил одну папиросу за другой. В конце концов он пришел к выводу, что уж лучше жениться на дочери бедного Лазаря, чем остаться бобылем. Но Турвантан упорствовала, отказывалась идти на поклон к Овакиму.

Она уверяла всех и вся, что скорее убьет своего Торика, чем позволит ему привести в дом эту девушку невесткой. Что ей было до мучений Торика...

— Убей меня, а родниться не стану с золотарем, — упорствовала Турвантан.

Торик молчал. Он был не в силах что-либо предпринять. Ведь ни один молодой человек в их городе самостоятельно не решал вопрос о женитьбе, даже если у него и была возлюбленная.

Но в бессилии что-либо изменить, он порой яростно бил посуду, напивался, ночью не приходил домой. Турвантан, обеспокоенная всеми этими переменами в племяннике, обещала ему пойти к золотарю.

— Турвантан, — сразу же заявила жена святого Лазаря, — у нас нет дочек на выданье.

— Как это нет? — удивилась Турвантан. — Трем из пяти твоих дочек давно пора быть замужем.

— Они у нас все сосватаны, спасибо за беспокойство, — надменно заявила жена Овакима.

Турвантан не поверила ей.

— Курица всегда ищет яйцо в своем помете.

Жена Овакима вспылила.

— Не говори глупостей, не сегодня-завтра сама узнаешь обо всем.

— Скажи мне свое последнее слово, — упорствовала Турвантан.

— Мое последнее слово такое же, как и первое, — отрезала жена Овакима, — нет у меня подходящих дочек для твоего Торика. Он у тебя не мужчина, а какая-то размазня, тьфу!

С влажными глазами Турвантан оставила дом золотаря Овакима. От стыда и негодования она совсем была вне себя, наговорила таких слов, каких никто от нее не слышал никогда.

На следующий день Торик случайно встретил на улице золотаря Овакима и сказал ему:

— Оваким, зайди к нам на днях почистить уборную.

Оваким ничего не ответил. Через несколько дней с той же просьбой обратился к нему другой сосед. На этот раз золотарь резко оборвал говорившего:

— Мало у меня своих забот, что ли? Свою уборную сам почистишь, нос у тебя не отвалится.

Все были удивлены. С ума сошел, что ли, этот золотарь Оваким, что с ним стало ни с того ни с сего? Ведь еще десять дней назад, увидев у своих соседей золотаря из другого квартала, он подошел и сказал:

— Тебе не совестно отнимать у меня кусок хлеба?

Выяснилось потом, что какой-то армянин, приехавший из Америки, обручился с одной из дочерей Лазаря, а остальных сосватал за своих двоюродных братьев. Будущий зять обещал взять с собой всю семью в Америку.

Говорили, что он отсчитал бедному Лазарю двести долларов и сказал:

— Папаша, теперь ты можешь валяться с утра до вечера в постели и плевать в потолок, у меня денег хватит, все будет ол райт.

Турвантан же рассказывала соседям:

— Видели бы вы, как они упрашивали меня, умоляли, чтобы я взяла их дочь, но я не захотела.

Когда Торик узнал, какую чушь городит его тетка, он сказал:

— Тетушка Турвантан, не надо говорить неправду. Какая польза от этого?

Турвантан промолчала.

Торик по-прежнему не находил себе места, страдал, особенно тяжело ему стало, когда приезжий из Америки раздел дочерей золотаря и вышел с ними гулять по улице, словно они были в Америке.

Сам же бедный Лазарь вышел на улицу в парадном европейском костюме, в галстук, с плащом на руке. Когда он проходил мимо ее дома, Турвантан чуть не лопнула от зависти.

— Господи, поглядите-ка на него, продал дочерей и как вырядился, — прошипела она.

— Почему это продал? — заступился Торик. — Человек выдал замуж дочерей. Была бы ты порасторопней, наверно, и мне досталась бы одна.

— Что ты болтаешь? — возмутилась Турвантан.

— Тетушка, теперь незачем понапрасну молоть языком. Ты лучше пойд и найди мне невесту.

— И найду, ты не бойся, — ответила Турвантан Коро, хоть сама уже не верила в это. Еще накануне, втайне от Торика, она сама ходила сватать девушку, и ее там огорошили:

— Ты пришла сватать за этого оболтуса нашу дочь? Мы не для осла вскормили и воспитали девушку!

* * *

Однажды утром Торик мрачно остановился перед своей мастерской. Ему не хотелось открывать двери, ноги сами тянулись в кабак, но по привычке он отпер замок. Только он вошел в мастерскую — его окликнул приятель:

— Торик...

— Иди лучше своей дорогой, — отрезал Торик, сел перед паланом, взял в руки шило, но не успел сделать и одного стежка, как ввалился к нему приятель.

— Здравствуй, Торик.

Торик едва ответил на приветствие.

— В чем дело, что ты снова слюни распустил?

— Не спрашивай, голова трещит.

— Я тебе такое сейчас скажу.

Торик поднял голову.

— Ты ничего не слыхал? — спросил его приятель.

— Нет? — Торик отложил шило в сторону.

— В наш город привезли проституток...

— Проституток?!

— Да, целых три.

Торик произнес что-то невнятное.

— Такие хорошенькие, просто прелесть.

— А ты их видел?

— Нет, люди говорят.

Наступило молчание. Торик не представлял, как выглядят женщины легкого поведения, хоть и много слышал о них.

— Махнем сегодня к ним? — предложил приятель.

Торик странно засмеялся, — словно овца заблеяла от радости.

— Деньги у тебя есть?

— Денег-то много, — гордо ответил Торик.

— Так пойдём?

Торик замялся и неуверенно поглядел на приятеля.

— Сегодня в полночь жди меня под деревом у дома Аганик, я приду.

— А где живут эти женщины? — спросил Торик.

— В нижнем квартале.

Торик прошел в другой конец лавки, где были сложены горой паланы и позвал приятеля. Они распили по стаканчику водки.

— Ох, по всем жилам потекла! — удовлетворенно сказал приятель и, договорившись с Ториком ровно в полночь встретиться у условленного дерева, ушел.

Торик снова сел за палан, взял в руки большую иглу, но работа не клеилась, его воображению представлялись необычайные картины, заманчивые и в то же время внушающие страх.

— Торик, где ты? — позвал его кто-то.

Ответа не последовало. Торик ничего не слышал, он был весь во власти разыгравшегося воображения.

— Женщина легкого поведения, — думал он, — брр... страшно как.

Вспомнилось ему несколько историй, связанных с подобными женщинами. Приехавшего из Греции учителя господина Бурназяна за связь с проститутками водили по улицам, плевали в лицо и позорили всенародно. Адвоката Кумлесеряна — одного из видных людей города — поймали на улице, вымазали лицо грязью, а хромой Артин вынужден был в полночь бежать из города, и до сих пор неизвестно, что с ним стало. Одна за другой всплывали в его памяти эти картины. Тем не менее в полночь под деревом у дома Аганик встретились две тени.

— Кто идет? — спросила одна.

— Это я, Торик, — ответила другая.

— Почему опоздал?

Торик взял приятеля за руку.

— Постой, дай отдышаться, — попросил он.

— Пошли, а то придем к шапочному разбору, — ответил приятель.

Торик был сильно возбужден, голова горела, он стоял как вкопанный, не в силах сделать шагу, но ему казалось, что какая-то сила его оторвала от земли и унесла в облака...

— Идем, — сказал приятель и силой потащил Торику за собой.

Ровно в полночь две тени выскользнули из-под дерева перед домом Аганик и двинулись в сторону нижнего квартала.

— Куда ты меня ведешь?

— В нижний квартал, они там.

На Торику напала дрожь. Он вытащил из-за пазухи бутылочку водки, протянул приятелю. Тот приложился к горлышку, выдул половину и вернул Торику, Торик допил остальное.

— Ох, по всем жилам потекла! — сказал приятель, и они пошли дальше.

Ночь была тихая, теплая. Они прошли мимо цветущих кустов, медовый аромат которых заставил Торику вдохнуть воздух всей грудью. Среди умиротворенного затишья природы только его сердце тревожно билось, словно бурная речка, которая текла в нижнем квартале.

— Скоро? — спросил Торик.

— Уже подходим.

Торик посмотрел на небо. Казалось, оно нависло над ними низко-низко, и до звезды, весело улыбавшейся ему, можно дотянуться рукой.

Приятель остановился перед каким-то домиком, в двух крошечных окошках которого горел свет.

— Здесь они живут, — сказал наконец приятель.

— Что ты говоришь? — Торику словно пригвоздило к земле.

— Они еще не спят.

— Откуда ты знаешь?

— Видишь, лампа у них светится. Приятель подошел к окну и тихо постучал по стеклу.

Молчание.

Торик подошел к приятелю:

— Пошли обратно.

— Не дури, — сказал приятель и снова постучал.

— Слушай, а вдруг мы ошиблись.

Не обращая на Торику внимания, приятель постучал еще сильнее.

И вдруг дверь тихонько скрипнула и отворилась.

Сердце Торики дрогнуло.

Приятель стал шептаться с кем-то.

— Торик, пойдй сюда, — позвал он.

Торик даже не почувствовал, как ноги сами понесли его на голос. Приятели вошли в темный коридор. Дверь за ними захлопнулась. В темноте кто-то взял Торику за руку. Это была женская рука, маленькая, нежная. Отворилась дверь комнаты, и часть коридора осветилась, — их встречала полуобнаженная женщина с золотистыми волосами. В комнате была еще одна женщина, она лежала, в постели.

— Сколько их, — спросила лежавшая женщина, когда приятели вошли в комнату.

— Двое, — ответила девушка, открывшая дверь.

— Я тогда не буду вставать, — сказала она и повернулась к стене.

Торик остановился посреди комнаты и невидящими глазами глядел под ноги. Голова была как в тумане, сердце стучало бешено. К нему подошла блондинка, взяла его за руку, повела за собой и посадила на кровать. Приятель и вторая девушка устроились на другой кровати. Постель с белой простыней показалась Торику облачком, а девушка — пташкой, вдруг вспорхнувшей и севшей на его колени.

Торик и сам не понял, как обнял девушку с золотистыми волосами и прижал к себе. Впервые в жизни он чувствовал женщину так близко, впервые дыхание женщины касалось его лица, он чувствовал аромат ее тела. О, этот аромат был нежнее аромата цветов, растущих на берегу реки в нижнем квартале. Обнимая своими крепкими сильными руками девушку, он хотел было сказать ей: «Я люблю тебя», — но слова словно застряли в горле:

— Ты любишь яблоки? — сказал он тихо.

— Люблю, — был ответ.

— Хочешь, принесу тебе яблок? — осмелев, предложил Торик.

— Нет, нет, не надо, — улыбнулась девушка.

— Нет, я пойду за яблоками.

— Ты уйдешь и больше не вернешься, — встревожилась она.

— Что ты говоришь? Да если ты даже уйдешь на край света, я и там разыщу тебя! — воскликнул он.

Девушка улыбнулась. В его словах было столько искренности и чистоты.

— Ты веришь мне? — спросил Торик.

— Верю, — сказала девушка и крепко обняла его. Торик поцеловал ее в губы. Этот поцелуй зажег юношу, ему вдруг захотелось говорить, всю душу излить, высказать затаенные в сердце ласковые слова, но язык отнялся от радости, он только глядел на девушку, в ее голубые бездонные глаза, гладил золотые волосы.

— Как ты там, Торик? — вдруг спросил его приятель.

— Не спрашивай, все прекрасно, — ответил Торик и снова стал целовать свою девушку.

Приятель и его девушка цинично захохотали.

Торик обиделся:

— Чего вы смеетесь, я эту девушку не променяю ни на кого на свете.

Он обернулся к своей подруге. Она улыбалась. В ее улыбке были и усмешка и удивление. Многие ей говорили такие слова, но у Торики глаза горели особым огнем, губы дрожали. Он явно не находил слов, чтоб выразить то, что чувствовал. После долгого молчания Торик прошептал ей на ухо:

— Как тебя зовут?

— Анжела.

— Анжела?

— Да.

Торик никогда прежде не слышал такого имени.

— Я не расслышал тебя, — вновь прошептал он.

— Я говорю, меня зовут Анжелой.

Девушка заметила удивление Торики.

— Ты не знаешь, что означает Анжела?

— Хи, хи, хи, — засмеялся Торик, — никогда не слышал такого имени.

— Анжела — это значит ангел, — пояснила она.

— Ангел?

— Да.

— И верно. Ты действительно ангел, я понял это, как увидел тебя.

— Я правду говорю, — улыбнулась девушка.

— Я верю, дорогая, ангелы не могут врать.

Анжела прижалась к Торику.

— Хочешь, пойду принесу что-нибудь поесть? — вновь предложил Торик.

— Нет, не надо.

— А я хочу принести, — настаивал Торик.

— Лучше в следующий раз.

— В какой это следующий раз? Я сейчас заберу тебя домой.

— К себе домой? — удивилась девушка. — Зачем же?

— Хочу, чтобы ты бросила это дело, я не оставлю тебя здесь.

Голубые спокойные глаза Анжелы наполнились слезами.

— Зачем ты заставляешь девушку плакать? — упрекнул приятель.

— Не суй свой нос куда не следует, — отрезал Торик. А потом обернулся к девушке: — Не плачь, дорогая, я возьму тебя к себе домой, будешь жить у меня, как царица.

Анжела почувствовала искренность и нежность чувств в этом нескладном, простом парне и ласково обняла его.

Торик нежно провел рукой по ее щекам.

— У меня только одна тетя, и больше никого, — сказал он.

— А если она не согласится? — спросила девушка.

— Не бойся, — гордо сказал он, — дом принадлежит мне. Так что собирай свои пожитки и пошли.

— Давай отложим на утро.

— Нет, я хочу сейчас, не хочу, чтобы ты оставалась здесь больше ни на одну минуту.

Девушку одолевали сомнения. Куда она пойдет на ночь глядя с незнакомым человеком. Может быть, он хочет увести ее, замучить, а утром выпроводить на улицу.

— А где ты живешь? — спросила Анжела, чтобы хоть немного собраться с мыслями.

— Знаешь, где находится большой родник? Вот напротив этого родника мой дом.

— Давай лучше утром пойдем, — попросила девушка.

— Нет сейчас, собирайся, нам пора.

— Зачем нам нарушать ночью покой твоей тети?

— Моя тетушка с ума сойдет от радости. Пошли.

Анжела молчала, она колебалась, хотя в душе никакого страха не испытывала.

— Если боишься, в эту ночь можешь лечь спать с моей тетей, — предложил Торик, — а утром рано отправимся в церковь и обвенчаемся.

Анжела решительно поднялась, вытащила из-под кровати чемодан, уложила в него свое белье, затем надела пальто и шляпу.

— Ты куда собралась? — удивленно спросила подруга.

Вместо Анжелы ответил Торик:

— Ко мне домой.

Подруга Анжелы недоуменно молчала.

— Чего уставились на меня, она будет моей женой.

Увидев решительность и смелость Торики, Анжела взяла его под руку и положила голову ему на плечо. Торик обнял ее, поцеловал и сказал:

— Ангел мой, идем.

Анжела подошла к кровати спящей подруги и поцеловала ее. Та проснулась и спросонья подумала, что и к ней пришел клиент, быстро вскочила, но, увидев перед собой Анжелу в пальто и шляпе, так и застыла на месте.

— Куда собралась?

— К себе домой, — ответил Торик и взял чемодан Анжелы.

Анжела попрощалась с подругами.

— Приходи к нам, пока мы здесь, не забывай, — попросила подруга.

— Нет уж, дудки, ее ноги больше здесь не будет, — сказал Торик.

На улице Анжела прижалась к Торику и спросила:

— Мы пойдем прямо к тебе домой?

— Конечно, к нам домой.

— К нам домой, — радостно повторила Анжела и схватилась за сердце. Оно готово было выскочить из груди. Правда, где-то шевелилось сомнение, но радость брала верх.

«Нет, этот простой, неотесанный человек не обманет меня», — думала Анжела и прижималась к Торику.

— Как только устанешь, скажи, я возьму тебя на руки и донесу до дома.

— Нет, я не устану, — ответила Анжела.

Небо еще ниже придвинулось к земле, звезды, казалось, вот-вот посыпятся вниз. Аромат цветов на берегу реки был похож на аромат Анжелы, такой же свежий и легкий.

* * *

Турвантан спала, когда Торик зажег свет в комнате.

— Тетя Турик, вставай, я нашел себе жену.

Турвантан вскочила с постели и, раскрыв слипшиеся глаза, увидела Анжелу, которая, дрожа от страха, стояла на пороге.

— Что ты говоришь! — воскликнула Турвантан, протирая глаза.

— Смотри. Вот моя жена.

Словно онемевшая от испуга птичка, смотрела Анжела на Турвантан.

— Ах, она как ангел красива.

— Ее и зовут ангелом, — с гордостью сообщил Торик.

Турвантан обняла Анжелу, расцеловала ее.

— Тетушка Турик, мы проголодались, приготовь что-нибудь поесть.

Турвантан торопливо вышла из комнаты.

— Садись мой ангел, вот твой дом, все здесь твое, все, — сказал Торик.

Анжела посмотрела на чисто прибранную комнату и прослезилась.

— Что ты плачешь, — спросил Торик, лаская ее золотистые волосы своими грубыми пальцами.

— Это я от счастья плачу, — ответила она, сквозь слезы.

— Не надо, милая, не надо. С сегодняшнего дня ты не должна больше плакать. Пока я жив, на твоих глазах не будет слез.

В комнату вошла Турвантан, увидела плачущую Анжелу и напустилась на Торику:

— Ты обидел ее?

— Да нет, тетя, я ее не обижал, это она от счастья плачет.

Турвантан подошла к Анжеле, обняла ее и сказала:

— Не плачь, доченька, не плачь, видно, ты сирота. Мой Торик тоже сирота. Я и тебе стану матерью.

Торик и Анжела поужинали, поели масло, сыр с зеленью, а Турвантан сидела напротив, скрестив руки на груди, и с восторгом, и с материнской любовью наблюдала за ними.

— Такой женщины, как моя тетушка Турик, нет на свете, — говорил Торик.

— Она хорошая, — воскликнула Анжела, улыбаясь Турвантан белозубой улыбкой.

Потом Турвантан поднялась, постелила постель для новобрачных в другой комнате, убрала посуду и сказала:

— Торик, сынок, твой ангел устал, ложитесь спать.

Спустя некоторое время Торик погасил лампу...

* * *

Торик проснулся рано утром и увидел рядом с собой Анжелу. Ее золотистые волосы были разбросаны по подушке, словно лучи утреннего солнца. Он долго смотрел на ее пухлые, розовые руки. Анжела открыла глаза, и они засверкали, как волны горного озера.

— Спи, хорошая моя, еще рано.

Анжела повернулась на другой бок и закрыла глаза. Торик на цыпочках вышел из комнаты.

Турвантан уже хлопотала на кухне.

— Тетушка Турик, чем ты занята? — спросил ее Торик.

— Делаю халву, сынок, для твоей голубоглазой женушки.

Торик с благодарностью и любовью обнял старую тетушку.

— Правда, хорошая у меня жена?

— Где ты только разыскал такого ангелочка? — спросила она.

Торик мог и не говорить ей ни о чем, очень может быть, что она так и не узнала бы правды, но он ничего не утаил, рассказал все, как было.

— Вай, лучше бы я ослепла и не видела этого позора! — воскликнула Турвантан, ударяя себя по коленям.

Торик был поражен.

— Что с тобой случилось, тетушка? — спросил он.

— Торик, сынок, лучше бы ты убил меня, чем свалил на меня такое горе, — сквозь слезы говорила Турвантан.

Ослепленный своей любовью, Торик не в состоянии был понять старую женщину.

— Нюготок своей жены я не променяю на дочь твоего фабриканта, — решительно заявил Торик.

— Ах, что скажут люди, — продолжала причитать Турвантан, — как я посмотрю в глаза людям, лучше бы ты похоронил меня рядом с Григором-агой.

— Тетушка Турик, Анжела такая же сирота как я, не говори о ней плохо, — взволнованно сказал Торик.

В это время из комнаты вышла Анжела, увидела Турвантан и Торику, радостно подбежала к Торику и поцеловала его. Турвантан искоса поглядела на Анжелу.

Торик же поднял жену на руки и стал носить ее взад и вперед.

— Ты такая легкая, как маленькая птичка.

Анжела спрыгнула на пол, подошла к Турвантан, положила свою золотую головку ей на колени и прошептала:

— Тетушка Турик, ты мне будешь мамой, а я тебе буду послушная дочь, хорошо?

Слова Анжелы тронули Турвантан. Она поцеловала Анжелу, но ничего не ответила.

Спустя некоторое время, когда Торик и Анжела позавтракали, поели халву, Торик объявил:

— А сейчас мы пойдем с тобой в церковь венчаться.

Анжела благодарно посмотрела на него.

* * *

— У вас нет свидетельства о рождении, сын мой, — сказал поп.

— Да будет вам, отец, и без него обойдемся, — сказал Торик и положил в руки священника золотой.

Поп взял Библию и прочел: «Станете одно тело и одна душа...»

— Станете одно тело и одна душа, — очень верно сказано, — воскликнул Торик, а Анжела молча и со страхом поцеловала серебряный крест.

Когда они вернулись домой, Турвантан спросила Торика.

— Ты сегодня пойдешь в мастерскую?

— В такой день я не буду работать, — ответил Торик и ласково посмотрел на свою жену.

— Ты обязательно пойдешь в мастерскую, — дружески подсказала Анжела, — от работы нельзя отказываться.

— А ты?

— Я буду помогать тетушке Турик, пока ты вернешься.

— Никуда не уйдешь? — спросил Торик с опаской.

Она поняла, что его мучает. Она подошла к нему, нежно поцеловала его и сказала:

— До самой смерти я никуда не уйду, я твоя навеки.

— Ангел ты мой, родная моя!

Торик побежал открывать свою лавку.

Турвантан и Анжела вместе взялись за уборку, и Анжела спросила:

— Тетушка, а чем занимается наш Торик?

— У него мастерская. Он шьет паланы для вьючных ослов.

Анжела замолчала.

— Что, не по душе тебе его работа?

— Нет, почему же, работа не плохая, — и, уловив выражение недоверия на лице Турвантан, прибавила: — Всякая работа хороша и почетна, не правда ли, тетушка?

А Торику тем временем совсем не работалось. Он попросил соседа присмотреть за лавкой, а сам помчался домой.

— Пойду, погляжу, как там мой ангелочек.

Анжела между тем выставила из комнаты все вещи, босиком мыла полы, перевязав свои золотые волосы белой лентой.

— Чем ты занята, ангел мой? — спросил Торик, войдя в дом.

— Решила уборкой заняться, — улыбнулась ему Анжела.

— Жenuшка ты моя родная, — ласково сказал Торик и припал к ее ногам.

Анжела заставила его подняться и тихо прошептала:

— Торик, душа моя.

Когда Торик вновь собрался идти в лавку, Анжела спросила его:

— Ты не будешь возражать, если я сделаю небольшую перестановку в нашей комнате?

— Как тебе хочется, так и расставляй мебель. Что бы ты ни сделала, мне понравится.

Анжела запрыгала от радости.

А вечером, когда Торик вернулся домой, он с трудом узнал свой дом. Вся мебель была расставлена по-новому, удобно, со вкусом, — хотя никаких новых вещей не прибавилось, комната казалась нарядней и светлей.

Торик долго, восхищенным взором оглядывал все кругом, и сердце его радовалось.

— Ангел мой, — произнес Торик искренне, — ты ведь устала, ложись сегодня спать пораньше.

Анжела уверяла его, что не устала, ибо работать ей было легко и радостно.

Торик не поверил ей, потому что знал по опыту, как устает человек от работы, и все просил ее лечь поскорей.

* * *

Дни пролетали быстро, как взмывшие в небесные выси голуби. Счастьем Торика не было предела. Но по городу ползли слухи.

— Эй, ты слышал, — говорили друг другу на улице приятели. — Паланчи Торик привел к себе в дом проститутку.

Весь город пальцем показывал на Торику. Даже тот приятель, который познакомил его с Анжелой, порвал дружбу с Ториком, да еще направо-налево всем рассказывал:

— Понимаете, как увидел Торик эту женщину, так схватил ее, словно коршун добычу, и увел к себе домой.

Турвантан хоть и молчала, прикусила язык, но не мирилась с ужасной действительностью. «До чего я дожила, — горевала она, — моя невестка — проститутка». Она месяцами не выходила на улицу — ни в баню, ни на рынок, ни в церковь, ни к своим близким приятельницам.

— Буду сидеть дома, пока богу душу не отдам, такого позора я не перенесу, — твердила она.

Анжела тоже из дому не выходила, чтобы не появляться на глаза людям и не подавать повода для разговоров, днем и ночью занималась хозяйством, а Торик не обращал на пересуды никакого внимания. Он гордо расхаживал по городу, лихо надвинув шапку на лоб.

— Покажите мне хоть чью-нибудь дочь, которая была бы порядочней моей жены, — говорил он. — Вот, к примеру, дочь Енго. Так она не то еще вытворяла. А разве дочь Демирчохла не осталась с животом, не имея еще мужа? Ну кого еще привести в пример? Да что там! Разве не дочь Суриева родила ребенка от своего же слуги? А дочь Чавушыа Керопа не сбежала с любовником в другой город? Ничего себе, порядочные. Ха, ха, ха...

Все это было правдой, но об этих сплетничали втихомолку.

Однажды Анжела, но выдержав, заплакала:

— Торик, бесценный мой, лучше я уеду из этого города, ты избавишься от сплетен.

— Что ты болтаешь, — возмутился Торик, — ты с ума сошла. Ты для меня самая святая женщина на земле.

Анжела благодарно прижалась к мужу.

За короткое время дом Торику совсем преобразился: на окнах появились красивые занавески, стулья и тахта были прикрыты чехлами, стены побелены, двери и оконные рамы заново окрашены, в коридоре настлан деревянный пол. Во всех углах стояли горшки с цветами, и по утрам они весело пестрели под солнечными лучами. Маленький заброшенный садик за домом совсем преобразился благодаря заботам Анжелы. Раньше там росли только сорняк да бурьян, а теперь появились ровные грядки, цветы. Сам Торик был чисто одет, обут с ног до головы, ухожен. Его черные усы, прежде беспомощно

свисавшие, теперь, словно большие запятые, торчали по обе стороны носа. Вместо мятых шаровар он носил настоящие европейские брюки, безвкусная цветастая рубаша была заменена белой сорочкой. Теперь он всегда носил галстук. Во все это вкладывала свое умение и вкус Анжела.

Чем больше сплетничали о ней, тем глубже становились в ней чувства любви и признательности к Торику, к этому грубоватому и неотесанному парню с такой прекрасной, чистой душой.

— Торик, душа моя, — говорила Анжела, — я ради тебя на все пойду. Ты ведь меня спас от гибели.

Она обнимала Торику, и ее голубые ласковые глаза наполнялись слезами.

— Ты забудь о своем прошлом, — говорил ей Торик и гладил ее золотые волосы огрубевшими пальцами, знавшими в жизни одну тяжелую работу. Торик каждый день приносил жене подарки, порой самые незначительные, но всегда говорящие о его внимании, клал их перед женой и говорил:

— Это я принес тебе, мой ягненок, ешь.

Торик не был красноречив, говорить комплиментов не умел, кроме «ангел мой» или «ягненок мой», он не мог придумать ничего, что выражало бы его любовь, но Анжела чувствовала в этих простых словах необычайную теплоту и ласку. Наконец время само заткнуло глотку сплетникам. Трудолюбие, домовитость Анжелы постепенно расположили к ней людей.

— Видели вы, как проститутка стала порядочной женой? — удивлялись соседи.

А какая-нибудь свекровь кричала на свою зазевавшуюся невестку:

— Горе ты мое, погляди на невестку Турвантан, ты ей и в подметки не годишься.

Со временем и у Турвантан изменилось отношение к невестке, сначала она жалела оклеветанную девушку, а потом на смену жалости пришла настоящая материнская любовь.

Как-то Турвантан вошла в кухню, когда Анжела стирала носки Торику. Она взяла мыльные руки невестки в свои, прижала ее к себе и заплакала. Анжела поняла, почему она плачет, и почувствовала, что эти слезы облегчали ее душу.

— Невестушка моя, хорошая моя, нет на свете второй такой, как ты, а я, старая, так виновата перед тобой, доченька, — сквозь слезы говорила Турвантан.

Анжела ничего не отвечала, она крепко прижалась к свекрови, и обе женщины расплакались.

Торик, узнав о примирении, страшно обрадовался.

— Какие у меня вы хорошие, тетушка и жена. Лучше вас нет никого на белом свете.

Торик веселился, прыгал от радости и обнимал то жену, то тетушку Турвантан.

На следующее утро Турвантан сказала сыну:

— Сегодня я поведу мою невестку в баню.

От неожиданности Торик оторопел, он пристально посмотрел на тетку и сказал:

— Как хочешь, тетушка Турвантан.

Когда в бане Анжела разделась, все как зачарованные смотрели на нее, тело ее, ослепительной белизны, словно излучало свет, а красота ведь не имеет врагов. Одна из женщин прошептала на ухо соседке:

— Пусть она и проститутка, но какая же красивая, разве ее сравнишь с нами, тьфу.

Турвантан Коро своими руками распустила золотистые волосы Анжелы, которые тут же скрыли ее белую грудь, казалось, само солнце заключило ее в свои объятия. Турвантан, заметив всеобщее восхищение, незаметно ущипнула невестку.

— Тетушка Турвантан, почему вы ущипнули меня? — спросила она после.

— Чтоб не сглазили доченька, — лукаво ответила Турвантан. Анжела улыбнулась.

А Торик, проводив жену и тетку, направился на базарную площадь, подошел к знакомому извозчику и спросил его:

— Ты знаешь мою тетю Турвантан?

— А кто ее не знает?

— Ну вот что, поезжай-ка к бане Аджи Турсуна и останови свой фаэтон у самых дверей бани. Как только оттуда выйдут моя жена и тетя Турвантан, отвезешь их домой, а я с тобой рассчитаюсь после. Не обижу.

Извозчик натянул вожжи.

Все, кто выходил из бани, видели, как Турвантан и Анжела рассаживались в фаэтоне. Какая-то завистница, две дочери которой засиделись дома, бросила им вслед злое проклятье. Лицо Турвантан под черной вуалью исказилось от злости. Но она сидела в фаэтоне с гордо поднятой головой, ей очень хотелось, чтобы весь город видел, как она с невесткой в фаэтоне возвращается из бани домой.

Торик уже вернулся с рынка и ждал их возвращения. Он купил на базаре жареную курицу, зелень и новое платье для Анжелы. В первый раз в жизни он сам подогрел чай. Когда Турвантан и Анжела вышли из фаэтона, впервые подкатившего к их домику, им навстречу вышел Торик. Заплатив извозчику, он гордо посмотрел в обе стороны улицы.

Войдя в дом, Торик увидел Анжелу с еще мокрыми волосами и покрасневшими от горячей воды щеками. Он поднял жену на руки, посадил на плечо и долго так носил по комнате.

Сложив руки на груди, Турвантан с умилением смотрела на них.

— Ах, увидел бы вас Григор-ага, — сказала она.

— И мама моя обрадовалась бы как, — счастливо прошептал Торик.

Турвантан неожиданно расплакалась, вспомнив свою бедную сестру, на могиле которой густо цвел тутовник.

Дни летели за днями.

Для Торики и Анжелы они были полны радости и счастья.

Дочь фабриканта, за которую хотела сватать сына Турвантан, вскоре умерла от горя, замученная пьяным и грубым мужем. Когда гроб с ее телом несли по улице, Торик спросил тетюшку:

— Кого это хоронят?

— Дочь фабриканта, — ответила Турвантан Коро.

— Жалко ее, — тихо прошептал Торик и отошел от окна.

— Если бы они выдали ее за тебя...

— Нет, — отрезал Торик, — хорошо, что отказали.

* * *

Каждое утро, перед тем как идти в мастерскую, Тории просил Турвантан:

— Тетюшка Турик, не давай моему ягненку поднимать ничего тяжелого, хорошо?

— Будь спокоен, дорогой, не разрешу.

Анжела, сидя в середине июля в своем маленьком садике возле голубых цветов, которые она сама посадила, шила маленькие рубашонки для своего будущего малыша, который шевелился уже у нее под сердцем, и улыбалась голубыми глазами. Жизнь для нее была полна аромата цветов.

А Макинцян Ваан Тотовенц

Имя талантливого армянского писателя Ваана Тотовенца мало известно русскому читателю. Между тем его творчество, представляющее своеобразный сплав культуры западной Армении, уроженцем которой он был, и восточной, гражданином которой стал после установления Советской власти, — явление значительное в армянской литературе.

«Душа моя запела, словно светлое, чистое, ясное утро», — писал Тотовенц в 1920 году в Париже, когда до него дошла весть о победе Советской власти в Армении.

В 1922 году писатель возвращается на родину и активно включается в строительство новой, социалистической культуры.

Безоговорочное приятие социалистической родины не было чем-то неожиданным для Тотовенца, а явилось следствием демократической направленности его творчества, постоянного внимания ко всяким проявлениям социальной несправедливости и критического отношения к капиталистическому миропорядку.

Родился Ваан Тотовенц в 1894 году в Западной Армении, в местечке Мезре, близ Харберда, в семье зажиточного помещика. Начальное образование получил в местной школе, учителями его были видные армянские писатели-демократы Р. Зардарян и О. Тлкатенци, несомненно сыгравшие немалую роль в формировании его литературных вкусов.

В 1908 году для продолжения образования Тотовенц отправляется в Константинополь. К этому времени относится первая проба пера — прозаический сборник под названием «Развалина». Но задерживается здесь будущий писатель недолго. Чужие страны, дальние берега манят любознательного, жаждущего знаний и впечатлений юношу. И вот он в Греции, затем в Италии, во Франции и, наконец, в Нью-Йорке. С 1912 года Тотовенц — студент университета в городе Висконсине, где слушает лекции сразу на нескольких факультетах: историческом, литературном и философском.

А тем временем в родных краях писателя назревают кровавые события: султанская деспотия готовит одну из страшных акций своей человеконенавистнической политики... Потоки крови скоро зальют родной Тотовенцу Харберд, он потеряет близких, отчий дом. Все, что совсем недавно было реальной действительностью, станет лишь воспоминанием, которое позже возмужавший писатель воскресит в автобиографической повести «Жизнь на старой римской дороге».

Пока же, в чужом, далеком городе, чтобы иметь кров над головой и возможность продолжать занятия в университете, он за гроши работает простым чернорабочим. «Америка спустила меня с заоблачных высот на землю, в Америке я увидел дно жизни», — писал он впоследствии об этих годах.

Неизвестно, что сыграло большую роль в формировании Ваана Тотовенца как писателя — блестящее знание английской и французской литератур и вообще широкое образование или «университеты» жизни, с неумолимой суровостью раскрывшие перед ним весь трагизм действительности и научившие острокритическому ее восприятию. Писатель запечатлел свое сочувствие к демократическим низам американского общества и заклеил его «хозяев» в цикле рассказов «Америка», написанных уже по возвращении на родину. Цикл этот представлен в настоящем сборнике рядом рассказов.

Находясь на чужбине, Тотовенц внимательно следит за происходящими на родине событиями. В эти годы он много пишет: один за другим выходят в свет его повести, романы, рассказы, поэмы. Так, в 1917 году пишет повесть «Тоно»; в 1918 году издает поэму «Восток»; работает над сатирическим романом «Доктор Бурбонян», вышедшим отдельным изданием в 1921 году в Константинополе; в 1922 выпускает в свет роман «В бурю» и др.

В Армению Тотовенц приезжает уже с большим жизненным опытом и довольно известным литературным именем. Но именно здесь он окончательно формируется как писатель, становится на позиции новой, социалистической литературы.

В этом отношении важнейшей вехой в его творчестве является трехтомный роман-эпопея «Баку», написанный на историко-революционную тему.

Обращение в 30-е годы к недавнему прошлому было продиктовано стремлением глубже понять революционные события, в корне изменившие жизнь. И хотя Тотовенц писал этот роман больше на литературно-архивном материале, чем на конкретно-жизненном (сам он никогда не был в центре пролетарского движения Закавказья — городе Баку, не видел воочию быта и нравов крупной армянской нефтяной буржуазии), тем не менее создал правдивое произведение, тепло встреченное в свое время читателями. Этот роман был первой попыткой в армянской литературе художественно отобразить революционную героиню рабочего класса. «Только пролетарский писатель мог создать подобное произведение», — писал об этом романе армянский критик А. Сурхатян.

Если в романе «Баку» Тотовенц обращается к прошлому, чтобы осмыслить настоящее, то повесть «Сожженные бумаги» (1934) пишется на современном материале. В центре ее — психологически достоверный образ профессора, внешне принявшего советскую действительность, а внутренне мечтающего сбежать за границу. Убедительно, с точным знанием жизни Тотовенц ведет своего героя по мучительным тропам разочарований в «свободную» и «демократическую» Европу, сталкивает его с демагогией, порочностью и лицемерием буржуазной цивилизации. Писатель возвращает своего героя на родину духовно прозревшим человеком, теперь уже по-настоящему оценивающим те творческие возможности и свободу, которые дает человеку науки советский строй.

Венцом творчества Тотовенца является уже упомянутая повесть «Жизнь на старой римской дороге», в основу которой легла история немногочисленной армянской колонии, закинутой в глубь Малой Азии и обреченной на гибель. Здесь писатель нарисовал

обобщенную картину трагической судьбы народа, изнывающего под игом султанского деспотизма.

Повесть своеобразна в сюжетно-композиционном отношении. В. Тотовенц отходит от традиционного построения автобиографических повестей, где в центре повествования — лирический герой, вокруг которого действуют другие персонажи и разворачиваются все события. Не процесс внутреннего развития лирического героя, не формирование его характера занимают Тотовенца, а всесторонний показ исторического отрезка времени через судьбы разных людей. Каждая глава повести посвящена или определенному лицу, или конкретному событию и является совершенно самостоятельным, завершенным рассказом, новеллой или портретной зарисовкой. Однако такая композиция не нарушает цельности, стройности повествования, — хотя лирический герой часто и оттеснен на задний план, но он все равно незримо присутствует своим отношением к судьбам людей и событиям.

В критической литературе не раз высказывалось мнение, что автор в этой повести идеализирует старину, помещичий уклад жизни, провинциально-патриархальный быт и нравы. Но явно ощущаемая в повести поэтизация невозвратимой поры детства не имеет ничего общего с идеализацией прошлого — ни в одном из других произведений писателя нет столь острокритического отношения к миру, как в этой повести.

С беспощадностью сурового реалиста он пишет о судьбе отвергнутых обществом незаконнорожденных детей, восстает против этических и общественных норм старого мира, против религиозных суеверий, предрассудков, необузданных проявлений грубых страстей и т. д.

Всей манере повествования Тотовенца присущ легкий юмор и грусть. Но грусть его — это не только слезы человека, потерявшего родных, оплакивающего невозвратимое детство. Она зачастую вызвана горестными раздумьями писателя над историческими судьбами своего народа, тревожными предчувствиями надвигающейся катастрофы. Потому писатель не только скорбит, но и гневно осуждает позорную политику империалистических держав, под прикрытием которой султанская деспотия вынашивала свои коварные планы. Он обвиняет европейскую дипломатию, которая не только ничего не сделала для разрешения «армянского вопроса», но и сама сеяла семена раздора, а потом «с наглым цинизмом смеялась над костями и пепелищем».

«Жизнь на старой римской дороге» написана рукой зрелого мастера, сумевшего удивительно ярко и осязаемо передать своеобразный колорит и быт небольшой армянской колонии, создать неповторимые характеры.

В армянской прозе по силе художественной выразительности повесть стоит в ряду лучших произведений автобиографического характера, таких, как «История одной жизни» Ст. Зорьяна, «Детство и отрочество» Г. Маари, «Господин Петрос и его министры» Н. Заряна.

Тематически к «Жизни на старой римской дороге» примыкает и повесть «Овнатан — сын Иеремии», написанная в сказочно-романтическом стиле, но не лишенная реалистической основы. Эта повесть — о вечной и могучей движущей силе, творческом духе народа. История семьи Андроаса — это история преемственных связей, утверждение идеи бессмертия подлинного искусства.

Наследие Ваана Тотовенца очень богато — он автор многочисленных повестей, рассказов, романов, пьес, стихотворений, поэм, боевых, актуальных очерков, многочисленных публицистических и критических статей.

Жизнь писателя трагически оборвалась в конце тридцатых годов, в пору расцвета его творческих сил, но и то, что сделано им, обеспечивает ему прочное место в ряду лучших представителей армянской советской литературы.

А. Макинцян

Примечания

1

Хаджи-эфенди — уважаемый господин (турец.).

(обратно)

2

Карас — кувшин большой емкости (арм.).

(обратно)

3

Ханум — госпожа.

(обратно)

4

Пандухт — скиталец (арм.).

(обратно)

5

Оха — турецкая мера веса, равная 1 кг 225 г.

(обратно)

6

Дрем — одна четырехсотая часть охи, или 3,06 г.

(обратно)

7

Ханум-хатун — полновластная, всеми уважаемая хозяйка, госпожа.

(обратно)

8

Нарды — восточная игра.

(обратно)

9

Полис — сокращенное название Константинополя.

(обратно)

10

Скутарийский холм — возвышенная часть Константинополя.

(обратно)

11

Бояджи-гюх — название местечка.

(обратно)

12

Хаш — восточное блюдо.

(обратно)

13

Хавза — город в Малой Азии.

(обратно)

14

Чусты — тапочки, чувяки.

(обратно)

15

Пахлава — восточное кондитерское изделие.

(обратно)

16

Кишмиш — сушеный виноград, изюм.

(обратно)

17

Месроп Маштоц — в V веке создал армянский алфавит.

(обратно)

18

Грабар — древнеармянский язык, полуграбар — здесь западно-армянский, смешанный с грабаром.

(обратно)

19

То есть ее отдали в наложницы.

(обратно)

20

Парон варжапет — господин учитель (арм.).

(обратно)

21

Зурна — восточный музыкальный инструмент.

(обратно)

22

Караванбаши — вожатый каравана.

(обратно)

23

Аба — грубошерстная накидка, верхняя одежда (арабск.).

(обратно)

24

Дэв — сказочный злой исполин.

(обратно)

25

Парон — господин.

(обратно)

26

Петрос Дурьян (1852–1872) — армянский поэт, лирик.

(обратно)

27

Мисак Мецаренц (1885–1908) — армянский поэт, лирик.

(обратно)

28

«Радуга» — первый сборник стихов Мецаренца.

(обратно)

29

Гяур — неверный, нечестивый (турец.).

(обратно)

30

Ит — собака (турец.).

(обратно)

31

Обругал мою веру (турец.).

(обратно)

32

Канун Эсаси — конституция (турец.).

(обратно)

33

Харавана — солдатская похлебка.

(обратно)

34

Яфта — объявление, афиша (турец.).

(обратно)

35

Эльхеме, дочь Талиба.

(обратно)

36

Финджан — чаша.

(обратно)

37

Вы так добры, так добры (англ.).

(обратно)

38

Паланчи — господин, мастер, изготавливающий вьючные седла.

(обратно)

39

Палас — домотканый коврик.

(обратно)

40

Палан — вьючное седло.

(обратно)

41

Хурджин — переметная сума.

(обратно)

42

Золотарь — отходник, парашник.

(обратно)

Оглавление

- ПОВЕСТИ

- Жизнь на старой римской дороге
- Овнатан — сын Иеремии
- РАССКАЗЫ
- Из цикла «Америка»
- 1. Арабская баллада
- 2. «Божественная комедия»
- 3. Назад, в страшный город
- 4. Расходы за неделю
- 5. Два пожара
- 6. Изабелла Серрано
- Светло-голубые цветы
- А Макинцян Ваан Тотовенц

-
-